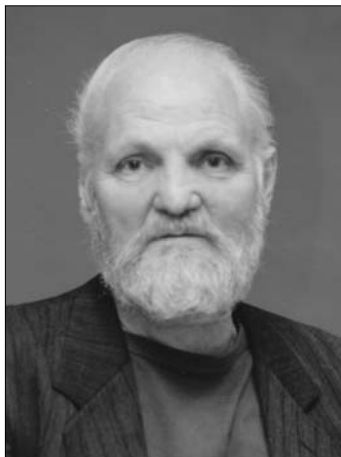


ВЛАДИМИР КРУПИН



ПАСХА

РАССКАЗЫ

Крестная смерть Спасителя поставила Голгофу и Гроб Господень в центр Мироздания. Где тот храм Соломона, пирамиды фараонов, башни Вавилона, маяк Александрии, сады Семирамиды, мрамор Пальмиры, где всё богатство века сего? Всё прах и тлен по сравнению с подвигом Христа. Всё в мире навсегда стало сверять своё время и время вечности по Христу. Все события в мире — это противостояние тех, кто за Христа, и тех, кто против. И другой битвы не будет до скончания времён.

Нам, православным людям — малому стаду Христову, — дано величайшее счастье, выше которого нет: причащаться Тела и Крови Христовых на Божественной литургии. И где бы она ни свершалась: в великолепном соборе или в бедной деревенской церкви — значение её одинаково и огромно. Мы принимаем в себя Христа — своё единственное спасение. И всё-таки никакая другая литургия не может встать вровень с той, что происходит ночью на Гробе Господнем в Иерусалимском храме Воскресения. Это только представить: чаша с Телом и Кровию Христа ставится на трёхдневное ложе Спасителя, освящается и выносится для приобщения участникам ночного служения.

Я несколько раз был на ночной службе у Гроба Господня. И особенно помню первую, когда поехал на неё вместе с монахинями из Горненской обители. Время было близко к полуночи. Ни обычного шума машин, ни лю-

КРУПИН Владимир Николаевич родился в 1941 году в Вятской земле. Служил в Советской Армии, окончил Московский областной пединститут. Автор повестей “Живая вода”, “Сороковой день”, “Прощай, Россия, встретимся в раю”, “Люби меня, как я тебя”, “От рубля и выше”, “Как только, так сразу”, “Слава Богу за всё”, романа “Спасение погибших”, многих рассказов, путевых заметок о Ближнем и Среднем Востоке, о Константинополе. Автор “Православной азбуки”, “Детского церковного календаря”, книги “Русские святые”. В “Нашем современнике” печатается с 1972 года (отрывки из первой книги “Зёрна”). Живёт в Москве.

дей — только огни по горизонту, только свежий ночной воздух и негромкое молитвенное пение монахинь.

От Яффских ворот быстро и молча шли мы по странно пустым узким улочкам старого города, сворачивая в знакомые повороты, ступая по гладкости днём — жёлтого, а сейчас — тёмного мрамора. Вот широкие ступени пошли вниз, вот поворот на широкую площадь перед храмом. Справа — Малая Гефсимания, слева — вход в храм, прямо к Камню помазания. У входа — расколота небесной молнией и опалённая Благодатным огнём колонна. Прикосновение к ней, влажной от ночной росы, освежает и дает силы на предстоящую службу. А силы нужны. До этого у меня был счастливейший, но и очень трудный день, когда я с утра до вечера ходил по Иерусалиму, говоря себе: “Иерусалим — город Христа, значит, это и мой город”.

Вообще я не сразу, не с первого взгляда полюбил Иерусалим. Я говорю не о Старом городе, при входе в него обувь сама соскакивает с ног — как иначе? Здесь Скорбный путь, “идеже стоясте ноге Его”, здесь остановившееся время главного события Вселенной, что говорить? Нет, я не сразу вжился в современный Иерусалим. Как этот город ни сохраняет старину, но модерн, новые линии и силуэты зданий проникают всюду, как лазутчики материального мира. Мешал и непрерывный шум машин, и их чрезмерное количество, и торговцы, предлагающие всё растущие в своей изысканности и цене товары и пищу, которая тоже дорожала, но всё заманчивей привлекала ароматами и внешним видом; мешали бесцеремонно кричащие в трубки мобильных, часто — на русском языке, энергичные мужчины, мешали и короткие, ненавидящие взгляды хасидов, многое мешало. Но постепенно я сказал себе: что с того? Сюда Авраам привёл своего сына, собираясь принести его в жертву. Здесь плясал с Ковчегом Завета царь Давид — куда больше? Отсюда пришла в мир весть о Воскресшем Христе. Здесь убивали камнями первомученика Стефана, а дальше, налево, гробница Божией Матери, внизу — поток Кедрона, а вот и Гефсиманский сад, вот и удивительная по красоте церковь Святой Марии Магдалины, подъём на Елеонскую гору и головокружительная высота Русской свечи над Елеоном — православной колокольни, выстроенной великим подвижником, архимандритом Антонином Капустиним. Вот он — Вечный город, вот видны и Золотые ворота, в которые вошла младенцем Божия Матерь и в которые, спустя время Своей земной жизни, въехал Её Сын — Сын Божий. А вот и храм Гроба Господня.

Вернувшись с Елеона, в этот же день я обошёл вокруг Старый город. Шёл вдоль высоченных стен из дикого камня, как ходят у нас на Крестный ход на Пасху — с паперти налево и вокруг храма, шёл, воспринимая свой путь именно как пасхальное шествие. И уже шум и зрелище современного мира не воспринимались, были вначале фоном, а потом и совсем отошли. И башня Давидова помогла этому отрешению — она же почти единственная из сохранных дохристианских зданий. И только в одном месте невольно остановился: мужчина в годах, в пиджаке с планками наград, наяврил на аккордеоне песню прошлого века:

*У самовара я и моя Маша,
А на дворе уже темным-темно...*

Ну, как было не расстаться с шекелем?

Но благодатный вход в храм Гроба Господня отсёк свежие воспоминания минувшего дня и придал сил. Особенно когда мы прикладывались к Камню помазания и в памяти слуха звучали слова: “Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое, плашаницею чистою обвив, и вонями во гробе новом покрыв, положи”.

У Гроба, на наше счастье, почти никого не было, только греческие монахи готовились к службе. Я обошёл Кувуклию — часовню над Гробом Спасителя. Опять же в памяти зазвучал молитвенный распев: “Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесах, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить”. Справа от часовни на деревянных скамьях спали бого-

мольцы. Они пришли сюда ещё с вечера. Сейчас просыпались, тоже готовились к службе. У входа в часовню, внутрь уже не пускали, горели свечи. В одном подсвечнике, как цветы в вазе, стояли снежно-белые горящие свечи. Добавил и я свою, решив не отходить от часовни, чтобы, даст Бог, причаститься у Гроба Господня. Я знал, что у Гроба причащают лишь нескольких, а остальных, перенеся Чашу с Дарами, причащают у алтаря храма Воскресения.

Дьякон возгласил:

— Благослови, Владыко!

Возгласил он, конечно, по-гречески, по-гречески и ответил ему ведущий службу епископ, но слова были наши, общие, литургические:

— Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа.

— Ами-и-инь! — согласно включился в молитву хор наших монахинь из Горней.

Мне было очень хорошо видно и придел Ангела, и сам Гроб. Удивительно, как священнослужители, облаченные в служебные одежды и на вид очень грузные, так легко и ловко поворачивались, входили и выходили из Гроба на преддверие. Частое каждение приносило необыкновенный прохладный горьковатый запах ладана. Какой-то очень родной, в нём была чистота и простор смолитого высокого бора. Молитвенными, почти детскими голосами хор монахинь пел: “Не надейтесь на князи, на сыны человеческия, в них же несть спасения”. Новые возгласы диакона, выход Владыки и его благословение. Видимо, по случаю участия монахинь из Горней, по-русски:

— Мир вам!

— И духови твоему, — отвечает хор.

И вот уже “Блаженства”. Начинается литургия верных. Тут все верные от самого начала. Ибо, когда были возгласы: “Оглашенные, изыдите”, — никто не ушёл. А вот и “Херувимская”. Тихо-тихо в храме. Такое ощущение, что его огромные, ночью пустые пространства, отдыхающие от нашествия паломников и туристов, сейчас заполняются безплотными херувимами, несущими земле весть о спасении. “Всякое ныне житейское отложим попечение”.

А время мчится вместе с херувимами. Уже пролетело поминание живых и умерших, уже торопился вспомнить как можно больше имен знакомых архиереев, батюшек, родных, близких и многочисленных крестников и крестниц, просто знакомых, тех, кто просил помянуть их у Гроба Господня. Так и прошу: “Помяни, Господи всех, кто просил их помянуть. Имена же их Ты, Господи, веши”. Душа на мгновение улетала в ночную Россию. Отсюда, из сердца мира, где в эти минуты свершалось главное событие планеты — пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, кланялся я крестам храмов православных, крестам на могилах, как-то в доло мгновения вспоминались монастыри и монахи и монашки, читающие при восковых медовых свечах неусыпаемую Псалтырь и покрывающие молитвенным омофором российские пределы.

А мы здесь, у Гроба Господня, малое стадо русских овец Христовых, молились за своё многострадальное Отечество. Ко Гробу Христову я шёл всю жизнь. И вот стоял у него и ждал Причастия. Ни ум, ни память это сознание не вмещали. Вся надежда была на душу и сердце. Я в ногах у Спасителя, в одном шаге от Его трёхдневного ложа, в трёх шагах от Голгофы. Ведь это же всё, промчавшееся с такой скоростью, всё это будет стократно и благодатно вспоминаться: и то, как молитвенно поёт хор, как размашисто и резко свершает каждение здоровенный диакон, как смиренно и терпеливо стоят около простоволосых женщин наши паломницы в белых платочках, как внезапно и весело звенят колокольцы на блестящем архиерейском кадиле, как безстрашно старуха в чёрном суёт руку в костёр горящих свечей и выхватывает оттуда догорающую, как бы пропальвая пламя. И ставит взамен новую. И вновь хор, и вновь сыплется звуки колокольцев кадила, облетая храм по периметру. Гроб плотно закрыт облачениями священства. Так хочется невидимкой войти в Гроб и видеть схождение небесного огня в причащающую Чашу. Говорила знакомая монахиня: “Нам дано видеть Благодатный огонь раз в году, а духовные люди его всегда видят. Потому что огонь небесный не уходит от Гроба Господня”.

Молодых чтецов сменяют старики. Красоту греческой речи украшает чётко приносимое имя Христа. В этом месте крестимся.

Выносят чаши. Обходим вслед за нарядными священниками вокруг Кувуклии. “Символ веры” поёт весь храм. Слышнее всего русские слова — нас здесь большинство. Голоса улетают вдаль, к пещере Обретения Креста, вниз, в потусторонность, в утешение почивших в вере и надежде Воскресения.

Вдруг, как будто пришедший из былинной Руси, выходит русский диакон. Он ещё огромнее, чем греческий, весь заросший кренкими, ещё не седыми волосами, и возглашает Ектенью. На каждое прошение хор добавляет:

— Подай, Господи!

И это незабываемое, нежное и просительное:

— Кирие, елейсон. Кирие, елейсон.

Это означает: “Господи, помилуй”. Вообще благоговеешь перед мастерством древнерусских перекладывателей Священного Писания и церковных служб и, в первую очередь, Божественной литургии и Пасхального Канона. Почему мы говорим: “Христос Воскресе!”, а не “Христос Воскрес”? Потому что по-гречески это: “Христос Анести”, то есть соблюдено соотношение слогов.

“Отче наш” поётся ещё слаженнее, ещё молитвеннее. Один к одному совпадают русские и греческие слова Господней молитвы.

Внутри Кувуклии начинается причащение священников. Простоволосая высокая гречанка сильным, звучным голосом поёт: “Марие, Мати Божия”.

Вижу: Чаша стоит на камне в приделе Ангела. Вот её берут и вздымают руки епископа. Выходят. Оба гиганта диакона — по сторонам. Падаем на колени.

— Верую, Господи, и исповедую...

Столько раз слышанная Причастная молитва звучит здесь совершенно особо. То есть она та же самая, до последней запятой, но звучит она над Гробом Господним, в том месте пространства, которое прошёл Воскресший Спаситель.

И тут я оказываюсь прямо перед Чашей. Оглядываюсь, как сделал бы это и в России, ибо всегда мы пропускаем вперед детей, но детей нет. Меня оттирает было диакон, и что особенно обидно, не греческий, а наш, но я, видимо, так молитвенно, так отчаянно гляжу, что он делает полшага в сторону.

Господи, благодати! Я причащаюсь!

Чашу переносят в Храм Воскресения, огибая по пути так называемый пуп Земли — центр Мира, — а я совершенно безотчётно, по-прежнему со скрещенными на груди руками обхожу вокруг часовню Гроба Господня, кланяясь всем её четырем сторонам, обращёнными на все стороны света.

Утро. Сажу на ступенях во дворе храма. Тут договорились собраться. Думаю: “Вот и свершилось главное в моей жизни причастие, вот и произошло главное событие моей жизни”. Но потом думаю: надо же ещё и умереть, и заслужить *кончину мирну, христианску, непостыдну*, надо же вымолить ещё и “добрый ответ на Страшном судищи Христовом”.

Встаёт солнце. И, конечно, не один я мысленно произношу: “Слава Тебе, Показавшему нам свет!” Оно бы не пришло на Землю, если бы не молитва на земле и если бы не эта ночная служба.

И как же легко дышалось в это утро, как хорошо было на сердце! Оно как будто расширилось, заняло во мне больше места, вытесняя всё плохое.

На обратном пути заговорили вдруг о Гоголе, его паломничестве в Иерусалим и о том разочаровании, которое он испытал. Видимо, он ждал чего-то большего, чем получил. Но ведь вспоминают же его современники, что он стал мягче, добрее, сдержаннее.

Вспомнил и я свою первую поездку. Очень я страдал после неё. Думал: если я стал ещё хуже, зачем же я тогда был в Святой Земле? И спас меня старый монах Троице-Сергиевой лавры, сказавший: “Это ощущение умножения греховности, оно очень православно. Святая Земля лечит именно так: она открывает человеку его греховность, которую он раньше не видел, ибо плохо видели его духовные очи сердечные. Святая Земля дарит душе прозрение”.

А вот и наш милый Горненский приют. Матушка, жалея сестёр, советует отдохнуть хотя бы полтора часика. Но почти у всех послушания. И уже через два часа колокол Горней позовёт нас на службу, в которой будут те же удивительные, спасительные слова Литургии, что звучали ночью у Гроба Господня, только уже все по-русски. И всё-таки, когда зазвучит: “Свят, Свят, Свят Господь Саваоф”, — отголоском откликнется: “Агиос, Агиос, Агиос Кирие Саваоф”.

...Поздняя ночь или очень раннее московское утро. Гляжу на огонёк лампы, на Распятие, и возникает в памяти слуха мелодия колокольников каддила у Гроба Господня, и ощущаю, как молитвы, произносимые у него, “яко дым кадильный”, восходят к Престолу Господню.

КАТИНА БУКВА

Катя просила меня нарисовать букву, а сама не могла объяснить какую. Я написал букву “К”.

— Нет, — сказала Катя.

Букву “А”. Опять нет.

“Т”? — Нет.

“Я”? — Нет.

Она пыталась сама нарисовать, но не умела и переживала.

Тогда я крупно написал все буквы алфавита. Писал и спрашивал о каждой: эта?

Нет, Катиной буквы не было во всем алфавите.

— На что она похожа?

— На собачку.

Я нарисовал собачку.

— Такая буква?

— Нет. Она еще похожа и на маму, и на папу, и на дом, и на самолёт, и на небо, и на дерево, и на кошку...

— Но разве есть такая буква?

— Есть!

Долго рисовал я Катину букву, но всё не угадывал. Катя мучилась сильнее меня. Она знала, какая это буква, но не могла объяснить, а может, я просто был непонятливым. Так я и не знаю, как выглядит эта всеобщая буква. Может быть, когда Катя вырастет, она её напишет сама.

СОКОЛКО

То, что животные обладают разумом, это даже и обсуждению не подлежит. Дядя мой соглашался говорить о пчёлах, если собеседник тоже, как и дядя, считал пчёл умнее человека. Мама моя говорила с коровой, ругала куриц, если те откладывали яйца не в гнездах. Кот наш Васёк сидел за обедом семьи на табуретке и лапой, издали, показывал на облюбованный кусок. Дворовая наша Жучка, завидя нас, начинала хромать, чтоб мы её пожалели. Что уж говорить о лошадях, которых мы водили купать. Белесая Партизанка, худощая, с острым хребтом, выйдя на берег из реки, валилась на песок и валялась, чтоб её снова запустили в воду, — так ей нравилось купание.

Но как же я помню из своего детства одного пёсика — собачку по имени Соколко. Именно из своего детства, будто этот пёсик был мой. А он из сказки Пушкина о мёртвой царевне и семи богатырях. Когда царевна, отведённая в лес на погибель, приходит в дом семи братьев, Соколко очень ей радуется, верно ей служит. И как он старается оградить хозяйку от злой колдуньи, как лает на неё, кидается, даёт понять царевне об опасности. Но царевна всё-таки надкусила яблоко, у неё “закатилися глаза, и она под образа головой на лавку пала и тиха, недвижна стала”. Вскоре героически умирает

и верный Соколко... Он, безсловесная тварь, не уберёт любимую хозяйку. Страдание его безмерно. Он отыскивает братьев в лесу, горестно воев, зовёт их домой. Братья, чувствуя неладное, скачут вслед за ним. Спешились. “Входят, ахнули. Вбежав, пёс на яблоко стремглав с лаем кинулся, озлился, проглотил его, свалился...”

Вообще, это величайшая сказка. Чернавка ведёт царевну на съедение диким зверям, а та просит её: “Не губи меня, девица! А как буду я царица, я пожалую тебя”. И на краю гибели царевна уверена, что станет царицей. Пощадив царевну, оставляя её на волю Божию (она именно так и говорит: “Не кручинься, Бог с тобой”), чернавка докладывает мачехе, что приказание выполнено: царевна привязана к дереву. Чернавка тут, надо думать, угрождает мачехе, не смея осуждать жестокость приказа, даже успокаивая совесть незаконной царицы. “Крепко связаны ей локти, попадётся зверю в когти, меньше будет ей терпеть, легче будет умереть”. Вырастая в обезбоженное большевиками время, мы не были оставлены Богом. Такие тексты, как эта сказка, исподволь действовали на нас. Ведь царевна, войдя в дом братьев, вначале “затешила Богу свечку”, а уж потом “затошила жарко печку”. Это же поселялось внутри нас и влияло на душу. Когда умирает царевна, то не как-нибудь, а ложится на лавку “головой под образа”. Когда отказывает в просьбе стать женой кого-либо из братьев, то говорит: “Коли лгу, пусть Бог велит не сойти живой мне с места. Как мне быть — ведь я невеста...”

А уж как ищет её возлюбленный Елисей! И помогает ему не солнце, не луна, а ветер. Мы же все знали наизусть этот отрывок: “Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч...”. Но что особенно важно, так это слова: “Не боишься никого, кроме Бога одного”. Ветер рассказывает Елисею о пещере, где “во тьме печальный гроб качается хрустальный”. Пушкинский, совершенно православный мотив — преодоление любовью смерти, изображение смерти как сна перед воскресением, здесь блистателен: “И о гроб невесты милой он ударился всей силой. Гроб разбился. Дева вдруг ожила. Глядит вокруг изумлёнными глазами...”

Вот ведь и в “Золушке” есть мотив волшебства и колдовства: превращение тыквы в карету, мышей в лошадей, но всё это как-то не по-нашему. В “Спящей царевне” колдовство — сила злая, преодолеваемая любовью.

“Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, — учили мы, — ты волнуешь сине море, ты гуляешь на просторе, не боишься никого, кроме Бога одного!” Учили, и дарвиновское понимание всеислия природы, атеистическая объяснимость любых явлений её отступали перед этой *боязнью* ветра: могучий ветер боится только Бога. Ветер, ломающий деревья, топящий корабли! Ещё далеко впереди было Священное Писание, буря на Галилейском море, утихшая по одному слову Спасителя, — всё было впереди. Но принять в сердце веру православную помогла нам русская литература, особенно Пушкин. “И с невестою своей обвенчался Елисей”. Не как-нибудь, не в загс пошли — обвенчались.

А как мой Соколко? А вот он не ожил. Как жаль, что он не умел говорить — объяснил бы братьям, отчего умерла царевна, а так пришлось показать им причину её смерти. Соколко так любил царевну, так мучился своей виной, тем, что не уберёг её, — конечно, как бы он потом жил?

Если бы я стал вдруг снова мальчишкой, завёл бы щеночка и назвал бы его Соколко.

ПОДКОВА

Кузня, как называли кузницу, была настолько заманчивым местом, что по дороге на реку мы всегда застревали у неё. Теснились у порога, глядя, как голый по поясу молотобоец изворачивается всем телом, очерчивает молотом дугу под самой крышей и ахает по наковальне.

Кузнец, худой мужик в холщовом фартуке, был незаметен, пока не приводили ковать лошадей. Старые лошади заходили в станок сами. Кузнец брал

лошадь за щётку, отрывал тонкую блестящую подкову, отбрасывал её в грудь других, отработавших, чистил копыто, клал его себе на колено и прибивал новую подкову, толстую. Казалось, что лошади очень больно, но лошадь вела себя смиренно, только вздрагивала.

Раз привели некованого горячего жеребца. Жеребец ударил кузнеца в грудь (но удачно — кузнец отскочил), выломал передний запор — здоровую жердь — и ускакал, звеня плохо прибитой подковой.

Пока его ловили, кузнец долго делал самокрутку. Сделал, достал щипцами из горна уголёк, прикурил.

— Дурак молодой, — сказал он, — от добра рвётся, пользы не понимает — куда он некованый? Людям на обувь подковки ставят, не то что... Верно? — весело спросил он.

Мы вздохнули. Кузнец сказал, что можно взять по подкове.

Мы взяли, и он погнал нас, потому что увидел, что ведут пойманного жеребца. Мы отошли и смотрели издали, а на следующий день снова вернулись.

— Ещё счастья захотели? — спросил кузнец.

Но мы пришли просто посмотреть. Мы так и сказали.

— Смотрите. За погляд денег не берут. Только чего без дела стоять. Давайте мехи качать.

Стукаясь лбами, мы уцепились за верёвку, потянули вниз. Горн осветился.

Это было счастье — увидеть, почувствовать и запомнить, как хрипло дышит порванный мех, как полоса железа равняется цветом с раскалёнными углями, как отлетает под ударами хрупкая окалина, как выгибает шею загнанный в станок конь, и знать, что все лошади в округе — рабочие и выездные — подкованы нашим знакомым кузнецом, мы его помощники, и он уже разрешает нам браться за молот.

ЗЕРКАЛО

Подсела цыганка.

— Не бойся меня, я не цыганка, я сербиянка, я по ночам летаю, дай закурить.

Закурила. Курит неумело, глядит в глаза.

— Дай погадаю.

— Дальнюю дорогу?

— Нет, золотой. Смеёшься, не веришь, потом вспомнишь. Тебе в красное вино налили чёрной воды. Ты пойдёшь безо всей одежды ночью на кладбище? Клади деньги, скажу зачем. Дай руку.

— Нет денег.

— А казённые? Ай, какая нехорошая линия, девушка выше тебя ростом тебя заколдовала.

— И казённых нет.

— Не надо. Ты дал закурить, больше не надо. Ты три года плохо живёшь, будет тебе счастье. Положи на руку сколько есть бумажных.

— Нет бумажных.

— Мне не надо, тебе надо, я не возьму. Нет бумажных, положи мелочь. Не клади чёрные, клади белые. Через три дня будешь ложиться, положи их под подушку, станут, как кровь, не бойся: будет тебе счастье. Клади все, сколько есть.

Вырвала несколько волосков. Дунула, плюнула.

— Вот зеркало. В него посмотришь и увидишь, кто твой лучший друг, а кто враг. Кого ты хочешь увидеть, друга или врага?

— Врага.

— Так смотри!

Посмотрел я в зеркало и увидел себя. Засмеялась цыганка и пошла дальше. И остался я дурак дураком. Какая девушка? Какая чёрная вода, какая линия? При чём тут зеркало?..

В ЗАЛИВНЫХ ЛУГАХ

Поздней весной в заливных вятских лугах лежат озёра.

Дикие яблони, растущие по их берегам, цветут, и озёра весь день похожи на спокойный пожар.

Ближе к сенокосу под цветами нарождаются плоды. Красота становится лишней, цветы падают в своё отражение. И на воде ещё долго живут. Озёра лежат белые, подвенечные, а ночью вспоминается саван.

Падает роса. Лепестки, как корабли, везущие слёзы, покачиваются, касаясь друг друга.

Постепенно вода оседает, озёра уходят в подземные реки, и как будто лепестки — вместе с ними.

Вода в вятских родниках и колодцах круглый год пахнет цветами. Пьют эту воду кони и люди, птицы и звери, цветы и травы, даёт эта вода жизнь всему существу, всему живому.

Только мёртвым не нужна вода, поэтому место для них выбирают на взгорьях.

ПАДАЕТ ЗВЕЗДА

Если успеть загадать желание, пока она не погасла, то желание исполнится. Есть такая примета.

Я запрокидывал голову и до слёз, не мигая, глядел с Земли на небо.

Одно желание было у меня, для исполнения которого были нужны звезды, — чтоб меня любили. Над всем остальным я считал себя властным.

Когда вспыхивал сразу гаснущий, изогнутый след звезды, он возникал так сразу, что заученное наизусть желание: “Хочу, чтоб меня любила...” — отскакивало. Я успевал сказать только, не голосом — сердцем: “Люблю, люблю, люблю!”

Когда упадёт моя звезда, дай Бог какому-нибудь мальчишке, стоящему далеко-далеко внизу, на Земле, проговорить заветное желание. А моя звезда постарается погаснуть не так быстро, как те, на которые загадывал я.

ГДЕ-ТО ДАЛЕКО

Много времени в детстве моём прошло на полатах. Там я спал и однажды — жуткий случай! — заблудился.

Полаты были слева от входа, длинные, из тёмно-скипидарных досок.

Мне понадобилось выйти. Я проснулся: темень тёмная. Пополз, пятясь, но упёрся в загородку. Пополз вбок — стена, в другой бок — решётка. Вперёд — стена. Разогнулся и ударился головой о потолок. Слёзы покапали на бедную подстилку из чистых половиков.

Тогда ещё не было понимания, что если ты жив, то это ещё не конец, и ко мне пришёл ужас конца.

Всё уходит, всё уходит, но где-то далеко-далеко, в деревянном доме с окнами в снегу, в непроглядной ночи, в душном тепле узких, по форме гроба, полатей ползает на коленках мальчик, который думает, что умер, и который проживёт ещё долго-долго.

МОЛИТВА МАТЕРИ

“Материнская молитва со дна моря достанет” — эту пословицу, конечно, знают все. Но многие ли верят, что пословица эта сказана не для красного словца, а совершенно истинна и за многие века подтверждена бесчисленными примерами.

Отец Павел, монах, рассказал мне случай, происшедший с ним недавно. Он рассказал его, как будто всё так и должно было быть. Меня же этот случай поразил, и я его перескажу, думаю, что он удивителен не только для меня.

На улице к отцу Павлу подошла женщина и попросила его сходить к её сыну. Исповедать. Назвала адрес.

— А я очень торопился, — сказал отец Павел, — и в тот день не успел. Да, признаться, и адрес забыл. А ещё через день рано утром она мне снова встретила, очень взволнованная, и настоятельно просила, прямо умоляла пойти к сыну. Почему-то я даже не спросил, почему она со мной не пошла. Я поднялся по лестнице, позвонил. Открыл мужчина. Очень неопрятный, молодой, видно сразу, что сильно пьющий. Смотрел на меня дерзко — я был в облачении. Я поздоровался, говорю: “Ваша мама просила меня к вам зайти”. Он вскинулся: “Ладно врать, у меня мать пять лет как умерла”. А на стене её фотография среди других. Я показываю на фото, говорю: “Вот именно эта женщина просила меня вас навестить”. Он с таким вызовом: “Значит, вы с того света за мной пришли?” — “Нет, — говорю, — пока с этого. А вот то, что я тебе скажу, ты выполни: завтра с утра приходи в храм”. — “А если не приду?” — “Придешь: мать просит. Это грех — родительские слова не исполнять”.

И он пришёл. И на исповеди его прямо трясло от рыданий, говорил, что он мать выгнал из дому. Она жила по чужим людям и вскоре умерла. Он даже и узнал-то потом, даже не хоронил. И лишь однажды за всё время опаматовался, и в душе его промелькнула жалость к матери. И раскаяние. Но ненадолго.

— А вечером я в последний раз встретил его мать. Она была очень радостная. Платок на ней был белый, а до этого — тёмный. Очень благодарила и сказала, что сын её прощён, так как раскаялся и исповедался, и что она уже с ним виделась. Тут уж я сам с утра пошёл по его адресу. Соседи сказали, что вчера он умер, увезли в морг.

Вот такой рассказ отца Павла. Я же, грешный, думаю: значит, матери было дано видеть своего сына с того места, где она была после своей земной кончины, значит, ей было дано знать время смерти сына. Значит, и там её молитвы были так горячи, что ей было дано воплотиться и попросить священника исповедать и причастить несчастного раба Божия. Ведь это же так страшно — умереть без покаяния, без причастия.

И главное: значит, она любила его, любила своего сына, даже такого — пьяного, изгнавшего родную мать. Значит, она не сердилась, жалела и, уже зная больше всех нас об участи грешников, сделала всё, чтобы участь эта миновала сына. Она достала его со дна греховного. Именно она и только она силой своей любви.

ПОКА НЕ ДОГОРЯТ ВЫСОКИЕ СВЕЧИ

За столом летнего кафе — компания молодёжи. Лица красные, жесты энергичные. Говорят громко, кружки по столу двигают резко и, кажется, разбили одну: около стола уборщица с веником и совком.

— Вы не возражаете?

Я повернулся — кто это с таким детским голосом? — и увидел мальчика. Я хотел послать его к папе-маме, но разглядел, что это карлик. Лет сорока.

— Да, конечно.

— Люблю, — сказал он, ловко влезая на стул и придвигаясь на нём ближе, — люблю на открытом воздухе выпить свежего пивка. Вы позволите? — он перехватил у меня пустую кружку и передвинул уборщицу. — Вы кто по профессии? — спросил он, поворачиваясь обратно. — Можете не отвечать, главное, что интеллигентный человек. И мы поймём друг друга. — И, хихикая, добавил: — Несмотря на явную разность величин.

Мимо нас к прилавку прошёл мужчина, пошатнулся, задел кого-то из парней. Они все сразу вскочили и налетели драться. Каждый непременно старался ткнуть мужчине в лицо. Кепка слетела у него с головы. Уборщица успела быстрее всех. Оттащила мужчину, прикрикнула на молодёжь. Тут мой карлик слез со стула, подбежал к упавшей кепке и стал её подпирать и топтать. При этом восторженно вскрикивал. “Вы позволите?” — спросил он парней. И вскоре он сидел уже за их столом и потешал их.

Я невольно вспомнил карлика, который в моём детстве пас гусей. Имени его мы не знали, звали Лилипутом. Он жил на мельнице, ходил босиком. Помню пруд и плотину после дождя. На глине — глубокие детские следы. Лилипут очень боялся гусей. Пока гнал одних, другие забегали сзади и щипали его.

Ещё вспомнился мне театр лилипутов и афиша:
“ТЕАТР! ЛИЛИПУТОВ!!!”

Уборщица подняла кепку мужчины, хлопнула ею по стулу, унесла. Карлик что-то рассказывал парням. Парни хохотали и плескали в его кружку из своих.

Казалось, что у лилипутов должны быть крошечные паспорта, крошечные фотографии в них и вообще всё — капельное: кукольная посуда, маленькие весы и гири. Буханки хлеба хватает на весь театр на неделю. Когда мы узнали, что театр приехал, то нас уже от клуба было не оттащить. И дождалась — изнутри вышла женщина-лилипутка. Губы накрашены, в губах роса. “Мальчики, — сказала она, хотя любому мальчику была по пояс. — Нужен уголь — подводить брови. Кто принесёт, получит контрамарку. — Мы молчали. — Ну! Простой уголь! Из печки”.

Ближе всех жил Руслан, сын продавщицы. И то, что он опередит всех, я с великой горечью понял, когда добежал до своего дома и нахватал полную пазуху самоварных углей.

Окна в клубе были плотно занавешены, и мы ничего не увидели, а Руслан рассказать ничего не сумел, только всё повторял шутку из концерта: “Он в столовой говорит: “А где сахар?” — Она говорит: “Вы как мешали? Направо? А сахар ушёл налево””.

...Молодняк за соседним столиком вдруг встал и, говоря нынешним языком, слинял.

— Вы позволите? — спросил карлик. — Интересует меня молодёжь, — сказал он через минуту. Говорил он быстро, с удовольствием, хотя казалось, что говорить высоким голосом трудно. — Вы заметили, какова стадность? — спросил он. — Впятером за бутылкой. Будто нельзя одному. — Он чувствовал, что говорить мне с ним не хочется, но не отступился, наоборот, качнулся вперёд, заговорил вполголоса:

— Вы не думайте, у нас всё так же, и свадьбы, и дорогие специальные кольца (он показал широкий жёлтый перстень) — всё, как у вас, только по знакомству. Только у нас не рождаются дети. Нет детей! — трагически произнёс он. Выждал паузу и закончил:

— Мы рождаемся у нормальных людей. Н-но! Вопрос: кто нормальные?

Невольно я заметил, что ноги его в лаковых туфельках не достают до земли.

— Да, да, — сказал крошка, — это загадка природы: карликов рождают гиганты. Причём правильно говорить не “лилипут”, а “карлик”. Некоторые наши стеснялись этого слова, но возьмите Даля: у него нет слова “лилипут”. Даже в девятьсот третьем году при переиздании словаря Даля Бодуэн де Куртэнэ не включил слово лилипут, проверьте. Видимо, Свифтов Гулливер ещё не прошёл по России. Это ведь оттуда страна Лилипутия. Забавно! — воскликнул карлик. — Свифт думал, что зло исчезнет, когда люди прочтут его книгу. Прошло три столетия — и что? Но это к слову. Когда не с чем бороться, зачем жить? Так вот, кому-то кажется благозвучнее “лилипут”, хотя правильнее — “карлик”. А-а, теперь карликом обзывают всякого горбуна. Нет чистоты породы! Вы пейте, пейте. Я, с вашего позволения, тоже.

— У вас есть теория? — спросил он вскоре, утираясь большим жёлтым платком. — Нет? Ну, это нестрашно, в основном, живут без теорий. Вот эти, например. Но узнать их подоплёку, изнанку...

— Это можно и без топтания кепки, без лизоблюдства. — Я всё-таки не мог понять, чего ради он заискивал перед парнями.

— Если бы меня не перебивали, — сказал он, — но всегда думают, что в маленькой голове мало ума. Дело же не в килограммах мозга, а в извилинах. Грецкий орех или тыква? — спросил он. — Однако у нас пусты бокалы, я их наполнил. Сейчас вы скажете, что страсть к услужливости у меня в крови, и ошибётесь. Просто я возьму без очереди, а вам не дадут.

И в самом деле, очередь перед ним расступилась. Да доведись бы до кого угодно... От сдачи я отказался. Он спрятал её, снова залез на стул.

— Благодарю. А ведь вы вряд ли богаче меня, у вас нет лаковых туфель и золотого кольца, и вовсе не современный костюм.

— И что же теория? — спросил я.

— Покончим сначала с этой, — ответил он, обхватывая кружку как маленький бочонок. И долго, по-комариному пересасывая в себя жидкость. — Теория в том, — сказал он наконец, вновь утираясь жёлтым платком и слегка пошаркиваясь, — что все познаётся в сравнении. Не будь вас, мы — карлики — считали бы себя гигантами по отношению, например, к мухе. Не так ли? И кто возразит, что электрон бесконечен для познания? А ведь я побольше электрона, — засмеялся он. — Сколько душ на конце иглы? Или вы по-прежнему считаете это схоластикой? Но, — вновь вернулся он к прежней теме, — вы хозяева природы, а природа создала карликов, чтобы вы считали себя большими. В сравнении. Потому что появились великаны, и все вы перед ним — лилипуты. Кстати, вся теория относительности в этом. Эйнштейну совершенно излишне аплодируют. Но почему карликам не дано функции размножения? Наше себялюбие помогло бы нам размножаться с большой скоростью. Кто знает, какое качество возникло бы из количества карликов. Вы не устали? Ещё пива? Ведь вы столько выпьете, что мне не унести. Деньги есть, не волнуйтесь. Зарплата у нас подходящая. Знаете первую заповедь? Если ты должен предать свой народ, чтобы спасти его, предай. А вторая? — карлик ещё раз показал широкий перстень:

— Копи золото и жди сигнала...

В кафе вернулся мужчина, которого хотели избить парни. Я махнул ему рукой, он увидел и сел к нам. Он где-то успел ополоснуть лицо, вытирался рукавом и глядел по сторонам трезвеющими красными глазами.

— Ты этих парней знал?

— Впервые вижу.

— Вот твоё теория, — сказал я карлику, — количество этих мальчиков сильнее мужика, так?

— Это совсем другая теория, — радостно сказал он, — это вопрос стадности, я же говорил...

— Кепку мою не видали? — спросил мужчина. Карлик спрыгнул со стула, быстрыми шажками сходил за кепкой.

— Спасибо, — сказал мужчина. — И только за то хотели убить, что нечаянно задел. Это уж до чего дошло? Хуже нас людей не осталось. Я пришёл выпить пива. Имею право.

— Д-да! — вскрикнул карлик.

Мужчина, будто впервые увидев его, долго смотрел.

— Ты какой размер носишь?

— Ой, только не надо! — заотмахивался карлик. — Только не говорите, что нам дешёво жить, наши женщины, представьте себе (он адресовался ко мне), нуждаются в мохере не меньше других и не носят детских колготок...

— Я своей покажу мохер, — сказал мужчина. — У них, конечно, одним пивом не обошлось, — сказал он о парнях.

— Всё — спецзаказ, всё — индпошив! — продолжал карлик. — Это дорого. Это безумно дорого. Никто не представляет себе, как дорого.

— Пенсию-то какую-то должны вам платить, — сказал мужчина. — Одежда дорого, зато на еду мало идёт.

— Вы ещё сначала заработайте эту пенсию.

— Тебя же не поставишь камни ворочать.

— Перестань, — сказал я мужчине. Пододвинул ему нетронутую кружку. Своим высоким голосом карлик стал говорить:

— Один энный, скажем так, человек нанимал меня для шпионажа...

Мужчина поперхнулся и долго кашлял. Я постучал мужчину по спине.

— ...для шпионажа. Он был страшный картёжник, ставки бешеные, вначале он хотел нанять вертолёт. Они играли в парке. Вертолёт зависает над ними, вертолётчик смотрит в двенадцатикратный бинокль и по радию сообщает данные. Но неудобно: вертолёт шумит, партнёр может пересесть, сядет спиной. Вот тогда игрок решил использовать мой рост. Он взял большую спортивную сумку, посадил меня в неё, принёс к месту игры. Но я всё же не молекула, не атом. Вдобавок партнёр сильно прижимал к себе карты. Так что мне даже ничего не заплатили.

— А знаешь, — воодушевляясь, сказал мужчина, — пойдём к тебе в гости. Пойдём к нему, — пригласил он меня. — Кровать, наверное, у тебя с этот столик. Или детская коляска? В ней и похоронят.

— Ничего интересного, — грустно ответил карлик. — Может быть, только перевёрнутая подозрная труба. Я смотрю через неё на улицы, и все вы кажетесь мне муравьями. Ещё, может быть, набор говорящих кукол: президенты, их жены, прочий аппарат. Иногда я на них проигрываю очередную смену правительств. Но и это не редкость. Пожалуй, единственное, что у меня есть, — свеча. Абсолютно с меня ростом. Стоит на полу. Пламя на уровне моих глаз. Боюсь зажигать, ощущение шагреновой кожи, то есть... объяснить?

С прежним шумом в кафе вернулась прежняя компания.

Одни пошли за стаканами, другие сели и стали звать карлика.

— Я пойду, — сказал он, — с тем условием, что вы будете знать мой научный интерес. Шагреновая кожа, — разъяснил он напоследок, — это вся наша жизнь. Я маленький, кровь во мне обращается быстро, я сильнее чувствую, быстрее живу, а вы наоборот, оттого мне любопытны ваши особи.

Он перешёл к парням.

— Их по одному надо убивать, — сказал мужчина. — Ну, свяжись я с ними сейчас со всеми. И что? И не жилец.

Слышно было, как карлик высоким голосом спрашивал:

— Вопрос на засыжку: как звали карлицу в романе Пушкина “Арап Петра Великого”? Считать до трёх? Бесполезно! Ласточка. Каков размер вершка? Вершок? Р-раз, два... три! Бесполезно. Сколько вершков росту были карлики, подаренные Голицыным (кто Голицын?) Петру Первому? Двенадцати! Стыдно, цари природы! Все цари имели карликов, а вы и без карликов мните себя царями.

Мы ещё посидели. Подходил один из парней, спрашивал, не обижали ли мы их нового друга. Звал к ним. Мужчину они не узнали.

Надо было спросить карлика про театр лилипутов. Если их немного, они могут знать друг друга. И тот мужичок с ноготок? Который пас гусей. Да нет, это было давно.

— Давай выпьем, — говорил мужчина. — Если что, кепку продадим. Но было уже поздно.

ЯНКИ, ГОУ ХОУМ!

Обычно фронтовики не любят смотреть военные фильмы. Даже не оттого, что в фильмах “киношная” война, а оттого, что слишком тяжело вспоминать войну. Мне кто-то рассказал про одного ветерана, бойца пехоты, который пристрастился смотреть всякие “Хроники низколетящих самолётов”, всякие сериалы, смотрел и плакал, и говорил соседу, тоже фронтовику: “Вот ведь, Витя, как люди-то воевали, какая красота, а мы-то всё на брюхе, да всё в грязи, да всё копали и копали...” Ветерану начинало казаться, что

он был на какой-то другой войне, ненастоящей, а настоящая — вот эта, с музыкой и плясками.

Мы, послевоенные мальчишки, прямо-таки бредили войной. Она была и в фильмах (“Подвиг Матросова”, “Голубые дороги”, “Подвиг разведчика”), она была и в наших играх, и в каждом доме. Там — отец не вернулся, там — вернулся весь искалеченный, там — всё ещё ждали. Мой отец, прошедший со своим единственным глазом ещё и трудармию (а что это такое, лучше не рассказывать), разговоры о войне не выносил, и я не приста-вал. Дяди мои, на мой взгляд, тоже не подходили для боевых рассказов. Уж больно как-то не так рассказывали.

— Дядь Федя, тебя же ранило, — приставал я. — Ну, вот как это?

— Как? А вот становись, я тебе по груди с размаху колотушкой охре-начу, вот так примерно.

Другой дядя, моряк, был даже офицер. После войны он вернулся к сво-ему плотницкому ремеслу. Мы крутились около, помогая и ожидая перекура. Спрашивать опасались, мог нас послать не только в сельпо — подальше. Но дядька и сам любил вспомнить военные денёчки.

— Ох, — говорил он, — у нас в буфете, в военторге, две бабы были — умрёшь не встанешь. К одной старлей ходил, к другой вообще комдив. Од-нажды... — Тут нам приказывали отойти, ибо наши фронтовики, в отличие от сегодняшней демократической прессы, заботились о нравственности детей. Но то, что нам позволяли слушать, было каким-то очень не героическим.

— Дядя, — в отчаянии говорил я, — ведь у тебя же орден, ведь ты же катерник, ты же торпедник, это же, это же!

— Ну, и что орден? Дуракам везёт, вот и орден, — хладнокровно отве-чал дядя, плыв на лезвие топора и вода по нему бруском.

— Ну, расскажи, ну, расскажи!

— Не запряг, не нукай. Уж рассказывал. Подошёл транспорт, надо по-топить.

— Транспорт чей? — уточнял я. Это больше для друзей.

— Немецкий, чей ещё? Послали нас. Как начальство рассуждало: пош-лём катер, загнуты четверо — невелика потеря, и рассуждали правильно: война. Четыре торпеды. Торпеды нельзя возвращать, надо выпустить. Кате-горически. Мы попёрли. Я говорю, дуракам везёт, на наше счастье — резко туман. Везёт-то везёт, но заблудились. Прём-прём да на транспорт и выпер-ли. С перепугу выпустили две торпеды и бежать со всех ног...

— Почему с перепугу?

— А ну-ка, сам вот так выпри на транспорт! Это ж гора, а мы около как кто? То-то. Бежать! Утекли. Еле причал нашли. Ну, думаем, будет нам. Торпеды приперли. Я с горя спирту резанул. Вдруг из штаба — ищут, вы-зывают. А куда я пойду, уже расколотый, мутный. “Скажите, — говорю, — что башкой треснулся, к утру отойду”. В общем-то кто-то всё равно наступ-чал, что я взболтанный. А почему вызывали — транспорт-то мы потопили! Вот мать-кондрашка, сдуру потопили. Так ещё как приказ-то звучал: “...ис-пользуя метеорологические условия и несмотря на контузию, и экономя, слышь, боезапас...” — вот как!

— За это надо было Героя дать, — убеждённо говорил я. Спустя малое время, окончив десятилетку, я стал работать литсотрудником районной газе-ты. И получил задание написать о Героях Советского Союза. Их у нас в рай-оне было четверо. Но один уже сидел в тюрьме за то, что надел свои орде-на и медали на собаку, а сам стрелял из охотничьего ружья в портрет отца народов: второй, инвалид, ездивший на трехколесной трещавшей инвалидной самоходке, был куда-то увезён, говорили, что в интернат для ветеранов. На самом же деле инвалидов просто убирали с глаз долой: была такая поли-тика, чтоб поскорее забыть войну, чтоб ничего о ней не напоминало.

Уже и холодная война заканчивалась, уже Хрущёв съездил в Америку, постучал ботинком по трибуне ООН, уже велел везде сеять кукурузу, уже подарил Крым своей бывшей вотчине, тут и фронтовиков решили вспомнить. И мне — не всё же кукурузу воспевать! — выпала честь написать очерк для нашей четырехполоски “Социалистическая деревня”. Редактор узнал, кто из двух оставшихся Героев передовик мирного труда, и выписал командировку.

Мы не ездили в командировку, а ходили. Так и говорили: пошёл в командировку. На юг района — сорок километров, на запад и восток — по тридцать, на север — шестьдесят; все эти километры я испагал и по жаре, и по морозу, и в дождь, и в метель. И какое же это было счастье — это только сейчас доходит до сознания! Как мела через дорогу узорная позёмка, как напряжённо и всё-таки успокаивающе гудели столбы, как далеко по опушке леса пролетало рыжее пламя лисы, как пронёсился, ломая наст, тяжёлый лось, а весной далеко и просторно разливалась река, и в заречную часть можно было попасть только на катерах сплавоконторы. А летние вечера, белые от черёмухи улицы деревень, а девичий смех, от которого туманилась голова и ощутимо билось сердце... Что говорить!

Герой будущего очерка был механизатором. В военкомате я выписал все данные на него и знал, что он получил Золотую Звезду за форсирование Днепра. Готовые блоки фраз уже были в фундаменте очерка: “В то раннее утро рядовой такой-то такого-то энского полка встал до соловьёв (мне очень хотелось про соловьёв!). Он подошёл к Днепру, умылся речной водой и вспомнил родную реку детства, своё село” (мне очень хотелось, чтобы на Днепре вспомнили Вятку и моё село)... Ну, и далее по тексту.

— А вы вспоминали в то утро свою родину? — спросил я, когда, найдя Героя, стал его расспрашивать.

— В какое утро?

— В утро форсирования Днепра.

— А, нет, мы ночью погребли.

— Но вспоминали? (Я мысленно переделал утро на тревожную ночь.)

— Может быть, — неохотно отвечал механизатор. — Тут баба с печки летит, сто дум передумает.

— Вы вызвались добровольцем?

— Да, вызвался.

— Почему именно?

— Дурак был. — Механизатор посмотрел на меня. — Вроде вас возрастом. Молодой был, вот и попёр. Там как заинтересовывают — сто первых выйдут на плацдарм, зацепятся, день продержатся — Герой. Кто? Ну, и пошёл — два шага вперёд.

— Но вы же потом не жалели, когда получили награду?

— Чего жалеть, вот она. Сейчас, правда, льготы за ордена и проезд бесплатный сняли, а так чего ж... в школу приглашали.

— Да, правильно (надо в школе побывать), дети должны стать патриотами.

Сделаю отступление. Мы выросли так, что умереть за Родину было нашей главной мечтой. О, сколько раз мы играли в Матросова, сколько же раз закрывали грудью амбразуру и умирали. Умереть за Родину было так же естественно, как дышать...

Я принёс очерк редактору. Отдал и встал навтыяжку. По лицу читающего очерк редактора я понял, что отличился. Только два места он похерил:

— Что это такое — вспомнил родину? А Днепр разве не наша родина? (Тогда не было позднее выдуманного термина “малая” родина.) И второе: “Прямо в песке закопали убитых товарищей”. Напишем: “После боя отдали воинские почести павшим”.

Я не возражал. Но за день до запуска очерка в печать редактор позвонил в колхоз, где работал механизатор, и узнал, что тот напился и наехал трактором на дерево. Редактор срочно послал меня на лесоучасток, где жил последний, четвёртый Герой.

Лесоучасток называлась красиво — Каменный Перебор, может, оттого, что стоял на берегу прозрачной каменистой реки Лобани. Этот Герой тоже был механизатором и тоже получил Звезду за форсирование реки. Но не Днепра, а Одера.

— Да и Вислу форсировали, — сказал он. Он всё-таки был хоть чуть-чуть поразговорчивей, чем сельский. — Потом всяких французов, датчан выколупывали.

— Как? — спросил я потрясённо. — Французы же наши союзники.

— Да ладно, союзники, — отвечал он. — Какие там союзники, все они

там повязаны. Европа вся сдалась немцам, они её не тронули, потом они им и отработывали. Ну-ка, сравни Минск и Париж, чего от них осталось?

— Но французское Соппротивление?

— Было. Но раздули, — хладнокровно отвечал он. — У них по лагерям лафа, артисты ездили, нашим — смерть. Это, братишка, была война великая, но помогать они стали, притворяться, когда мы переломили Гитлеру хребет. Ещё те сволочи, — неизвестно о ком сказал он. — Да вот хоть и американцы. “Встреча на Эльбе, встреча на Эльбе!..” — кукарекают. А что встреча? Вот я тебе про встречу расскажу. Мы пошли мая десятого-одиннадцатого по Берлину — уже везде американские часовые торчат, патрули американские — они большие мастера победу изображать. Зашли, сели в ресторане. Второй этаж. Внизу — лужайка. В углу — американцы гуляют, ржут. И чего-то в нашу сторону дали косяка, чего-то такое пошутили. Ну, мы и выкинули их в окно.

— Как? — спросил я потрясённо. — Выкинули в окно? Американцев?

— Ну! Да там же лужайка, не камни же. Потом туда им столы выкинули и стулья. И велели официанту отнести им, чего закусить и выпить.

— А... а дирекция ресторана?

— Эти-то? Ещё быстрее забегали. Мы так хорошо посидели. Серьёзно посидели, — добавил он, — и пошли. И идём мимо американцев. Те вскакивают, честь отдают. Вот это *встреча на Эльбе!* С ними только так. А то сейчас развякались: “Хинди-руси, бхай-бхай!” — это с американцами-то? Да эти бы Макартуры и Эйзенхауэры первыми бы пошли давить нас, если бы Гитлер перевесил. Вот немцы могут быть друзьями, это да.

Я был так потрясён этой крамольной мыслью, что зауважал фронтовика окончательно.

Вот такие дела. И ещё сорок лет прошло, протекло, как песок в песочных часах. Живы ли вы — мои милые герои? Я вспоминаю вас и низко кланяюсь всем вам, моим отцам, спасшим Россию.

И думаю: вы-то спасли, а мы продали. Продали, и нечего искать другого слова. Продали и предали. И вот я иду по оккупированной России. Через витрины, заваленные западным химическим пойлом и куревом, отравленной пищей и лаковой порнографией, смотрю на лица, искалеченные мыслью о наживе, смотрю, как ползают на брюхе перед американской помощью экономисты, как политики гордятся тем, что им пожал руку саксофонист, и думаю: “Россия ты, Россия, вспомни своих героев. Вспомни Александра, царя, который в ответ на какие-то претензии англичан к нам, высказанные послом Англии за обедом, молча скрутил в руках тяжёлую серебряную вилку, отдал послу и сказал: “Передайте королю”. Или, когда он ловил рыбу, ему прибежали сказать, что пришло какое-то важное донесение из Европы, а он ответил: “Европа подождёт, пока русский царь ловит рыбу”. Но ведь и наш, нынешний, тоже ловит рыбу. А вот интересно: он ловит, а ему бы прибежали сказать охранники, что зовёт Буш. Ведь бросил бы, чай, удочку...

Ещё могу добавить, уже от себя, что не только те, при *встрече на Эльбе*, американцы трусливы, но и теперешние. У меня есть знакомый американец, русист. Он с ужасом сказал, что все эти “марсы”, “сникерсы”, стиральные порошки, средства для кожи и волос — всё это жуткая отравка и зараза.

— Тогда спаси моих сограждан, — попросил я, — выступи по телевизору. Тебе больше поверят, чем мне.

И что же? Испугалась смертельно мой американец. Разве осмелится он хоть слово вякнуть против тех компаний, которые наживаются у нас? Не посмеет.

А ещё почему трусливы американцы? Они жадны. А жадность обязательно обозначает трусость. Давайте проверим: вот придёт в России к власти то правительство, которое любит Россию, не шестерит перед разными валютными фондами, верит в народ, в Бога, знает, что нет запасной родины, и что? И все эти “сникерсы” сами убегут.

В годы детства и отрочества, помню, часто печатались в газетах и журналах фотографии и рисунки из разных стран, на которых были написаны слова: “Янки, гоу хоум!” — то есть “Янки, уходите от нас”. Все беды мира

связывались с американской военной или экономической оккупацией. И наши беды отсюда. Так что на вопрос: “Что делать?” — отвечаем: писать на заборах и в газетах: “Янки, гоу хоум!” Не уйдёте в дверь, выкинем в окно. На лужайку. Перед Белым домом.

КРЫША ТЕЧЁТ

Старинный двухэтажный дом старинного села на старинном тракте. Ещё мощные стены, потолочные перекрытия, помнящие столыпинские времена. Вот крыша плоха, крыша течёт. Я живу на первом этаже — мне меньше достаётся осадков, а на верхних льётся с избытком. Но они, я заметил, не очень-то горюют. Живут весело. Там их, на втором этаже, три женщины. Про одну, с двумя ребятишками, сказать ничего плохого не могу, а две другие круглосуточно в вихре удовольствий. Одна вроде разведена, другая вроде с Кавказа: Гуля и Виктория. Вот они, вернее, их клиенты, доставляют мне много неприятностей. Главная неприятность — шум и ругань. Нашествие пьяной мужской части человечества усиливается к ночи, нарастает к полудню, стихает к утру, утихает до полудня, возобновляется с обеда. Столько мужичков в иную пивную не ходят. Под окном — забор. Некоторые посетители второго этажа бодаются с ним. Бодаются с переменным успехом: то забор валит мужичка, то мужичок — забор. По пьянке один парень ввалился ко мне. Покрутил головой, осознал, что попал не туда, но фасон держал.

— Вы старовер? — сурово спросил он.

— Нет, православный.

— Дайте пять рублей. Лучше десять.

Я отдал, но не понял, за что плачу: за то, что я не старовер? Или за то, что православный? Другой орёл, может, уже по наводке первого пришёл, постарался сесть прямо и сообщил, что много кой-чего знает. “Про Афган, имею в виду. Учти — это совсекретная информация”. Ничего из совсекретности я не узнал, но узнал, что он желает продолжения праздника.

Вскоре со мной перестали церемониться. Врывались и хрипели:

— Не дай помереть! (То есть выдай сумму.)

Умение состричь с меня нужную сумму бывало иногда изысканным. Не всегда же по нахалке просили. Вот взять Аркашу: всё умеет — плотничать, плясать, но главное — выпить. Моих лет, но рядом поставить — я выгляжу стариком, а его до сих пор жена ревнует. Не знаю, может, напрасно, может, нет, я расскажу о том, как Аркаша утончённо извлекает из моего кармана средства.

Вот я приехал, ещё и бумаги не разложил, а Аркаша уже сидит. Ничего не просит, только очень-очень сокрушается:

— Ёк-макарёк, что б тебе было вчера приехать, а? Аль погода задержала, аль другую любишь ты? Вчера не мог никак приехать, а?

— Значит, не мог. — И спрашиваю неосторожно: — А что вчера?

— Вчера, только вчера, — восклицает Аркаша, — я отдал ведро черники за бутылку! Ведро! Хоть бы кто подсказал литра бы два тебе оставить. Я ж дурак — и башка трещит, и черники нет. Оно бы, Николаич, твоё было, оно же для тебя предназначалось, это ж черника! Я Нине говорю: Нин, вот бы Николаичу это ведро, съел бы — сразу бы без очков газету читал. Это ж черника! Да-а!

Аркаша так убивается, что я понимаю, что должен как-то уменьшить его страдания. Получается, что я должен Аркаше бутылку. Одну, всего одну за целое ведро. Аркаша приходит через несколько дней и спрашивает, когда я уезжаю.

— Завтра? Точно? Обязательно надо? Конечно, дела. А остаться никак не можешь?

— Нет.

— Жаль! — почти радостно восклицает Аркаша. — Ведь у меня завтра будет ведро черники, тебе б за бутылку отдал. Это ж черника — цар-

ская ягода. Ведро за бутылку где купишь? Разве в Москве купишь ведро за бутылку?

— Смотри какая бутылка, смотри какое ведро.

Аркаша смеётся, шутка моя кажется ему очень остроумной. Ему смешно, а я опять ему должен бутылку. В самом деле, почему я уезжаю завтра, ведь послезавтра у Аркаши именно для меня будет целое ведро! Приходится платить. Уезжаю без черники, но всё-таки хоть Аркаше ничего не должен. Он, пьяненький, провожает меня, поёт:

“Ребят всех в армию забрали, хулиганов, настала очередь моя. Мамаша в обморок упала с печки на пол, сестра сметану пролила”.

— Николаич, приезжай за брусничкой! — И пытается плясать.

Когда я приезжаю осенью, история повторяется: никакой брусники нет. Но была вчера. Я же виноват, почему ж вчера не приехал. И грибов нет. Но будут. “Не уезжай ты, мой голубчик”, — говорит Аркаша, и я исправно плачу ему за такое усердие в деле добывания для меня лесных даров. А Аркаша, оказывается, и стихи для меня сочинил: “У лукоморья дуб спилили, златую цепь большевики пропили, на kota уж кандалы надели, в зоопарк свели, а сами к лешему пошли”.

Не всякий поэт отважится выступить в соавторстве с Пушкиным. Как не вознаградить такую отвагу?

Да, но домик наш старинный содрогается от грохотания пьяных ног по лестнице, от биения кулаками в двери, иногда не в те, от нечленораздельной громкой речи, в которой воспоминание о матерях — основное. Интересно, что, когда весь день играют под окном или в коридоре ребятишки, это мне не только не мешает, но и настраивает на работу, а этот пьяный шум расстраивает.

Но вот, чтоб не сглазить, третий день в доме тихо. Сижку, гляжу, как темнеют от короткого дождя и быстро сохнут тротуары, как возится под берёзой неугомонный пёсик Тотошка, как тихо и умиротворённо кольшутся ветви, — так хорошо! А всё кому спасибо? Спасибо Татьяне, Тане-капустихе, как она в шутку про себя сказала. Уж не знаю, надолго ли, но посетителей второго этажа она отвадила.

Пришла она, кстати, тоже не просто чаю попить, ей надо было добавить к имеющейся сумме ещё сумму. Но не тягостную для меня. Таня охотно согласилась выпить чаю и объяснила, что им с мужем надо поправить здоровье после отмечания дня рождения бабушки.

— Гулина Мария Самсоновна. Мне вместо матери. Мать у меня всю жизнь по тюрьмам. Сидела за аборт. Попалась за такой бизнес. Я вам скажу версию, вы поймёте: семимесячный аборт — это же убийство. На семь лет. Отец был, но молодой же, охота попить-погулять. Сапожник. Звали Вася-капустик. Остались с бабушкой: я — полтора года, братики — шесть и восемь. Да-а, мать загремела. А та-то сама просила. Нагуляла, некуда деваться, три дня у нас лежала. Не она — родные подали в суд. Они-то, вишь, хотели ребенка. “Чей бы бык ни прыгал — телята наши”. И мы остались с бабушкой. Бабушка на свою зарплату (она была санитаркой в морге, какая там у неё зарплата — минималка!), а нас подняла. Садимся чай пить: вот вам по конфетке, по печенюшке. Мы растягиваем их, понимаем, что такое конфета. Братики начали подрабатывать: жили рядом с базаром — кому чего поднести. Но ни в жизнь не воровали. Честно! Ходили рыбачить, продавали. Опять рубль или два бабушке несут. Я посуду мыла, пол, крыльцо мела. Жили вчетвером на тринадцати метрах. Семь лет кантовались, по-русски сказать. Мать пришла, привезла кучу денег, газету, там про неё — передовик труда. Меня снарядила в первый класс, одела, как куклу. “Таня, я не шлоха, не вор, я честно заработала”. Так одела, что я боялась на стул сесть, платье измять.

Таня вздохнула. Я ещё ей налил чашку.

— Полгода, полгодика с мамочкой, косы заплетала, бантики гладила, полгода. Опять к ней пришли, просят. Не смогла какая-то стерпеть, подставилась, в больницу боится. И тут — аборт со смертельным исходом. Снова семь лет. Когда второй раз вернулась, мне уж было пятнадцать.

Тут над нами раздались звуки пьяной разборки. Таня встрепенулась:

— Опять они! Ну!..

— Татьяна!

— Я не матерюсь. Никогда. Я молитвы читаю. Читаю “Отче наш” и свои: “Мать Пресвятая Богородица, помоги и спаси”, “Господи Всемогущий, дай мне хлеб насущный”. И есть всегда на хлеб. Но эти же другого языка не понимают. А мой поймут.

— Вообще, Татьяна, может, они не думают, что ругаются. Достоевский говорил, что у русских сквернословие есть, а скверномыслия нет.

— У них ничего нет, у них одно.

Звуки разборки усилились. Таня отодвинула чашку и решительно шагнула за порог. Наверное, так шли добровольцы на врага. Я шагнул за ней. Она уже резко считала ступеньки, резко и громко стала материть стоящую там мужскую компанию. Но нет, я неверно сказал — не материла, но так она их полоскала, не упоминая имени матери, что я изумился. Увы, это непечально. Пусть цензуры и нет, но есть же чувство белого листа. Как его очернить руганью? Я понял, что мне подниматься не следует, ибо после Таниного выступления наступила тишина.

Таня вернулась, я налил ей ещё чашку. Очень довольная, она позволила себе взять дольку шоколада и сказала:

— Крыша у них течёт, так кобелями сверху прикрываются.

— И много их там?

— У этих-то? А сколько вытерпят, — хладнокровно ответила Таня и продолжала про бабушку.

Я же с изумлением ощущал тишину в доме.

— Бабушка, конечно, выпивала, но, конечно, они выпивали не как мы. Берут красненького одну, их четыре старушки, ещё два старичка-инвалида, вынесут во двор стол, во главе — тётя Валя с балалайкой. Выпьют по стопочке, и тётя Валя пошла на балалайке! Мы же вчера-то в честь дня рождения бабушки собрались. Детишкам — мороженое, печенье, нам чего другое. Муж закалымил сто двадцать: “Иди, Таня, за вином”. Сидим, я любимую бабушкину запела “Ой, мороз-мороз”, вот как сейчас спою. — Таня спела куплет. — Спела, муж говорит: “Дак ниче, песню не испортила, не орешь во всю глотку, — говорит. — Ак допой давай”. А-а, говорю, захотелось — допой. Ещё была у бабушки любимая, — Таня запела: “Вот кто-то с горочки спустился...” Муж говорит: “Ак, Тань, голос-то у тебя хороший”. Я говорю: а чего ему плохому быть, я ведь его не прошила, не прорала, я ведь женщина, должна меньше пить. Женщина, — сказала Таня назидательно, — за столом не присядет, постоянно в движении, принести-унести, кому закурить подать. А я сильная. Я вес чувствую, а тяжести не чувствую, я сегодня гроб с одной стороны одна подняла. С другой — двое мужчин. Со стороны ног легче: в головах — мысли, а в ногах — одна беготня. Я больше своего веса поднимаю. У меня одни мышцы. Я могу и литр, и два за ночь выпить и опять бегу работать. Женщинам меня не перепить. Только надо покушать. Суп, колбасу, консервы. Пью не залпом, не галопом. Выпила, поставила, закуски, разговоры, потом опять. С промежутками пьешь — и всё в том же состоянии, что вот сейчас и с вами сижу.

— Слушай, Таня, я так тебе благодарен, ведь сидим-то в тишине, ведь замолчали.

— А вы, если что, зовите. Их надо так вразумлять. Я перекрещусь, в три этажа загну, сразу, блин, понимают. Знаешь ведь: чем дальше лес, тем толще партизаны. Это присказанька такая.

В тишине я жил и следующий день. Осторожно ходил в магазин, на реку, зорко смотрел вперёд и по сторонам, не притаился ли в зарослях уличных деревьев и кустарников, как щука в осоке, Аркаша. Нет, видно, куда-то уехал. Подстерёг меня не он, а другой мужчина.

— К вам посоветовали обратиться, говорят, иди, он соображает.

— В чём я соображаю?

— Как с женой поступить.

— Ой нет, в этом я не соображаю.

— Да у меня просто. У меня сахар еся, мука еся, огород еся, поросёнок еся... Чего ей надо?

— Не хочет быть крестьянкой, хочет быть столбовою дворянкой?

— Этого не замечал. Всё же еся. Ну, не люблю я её, ну, и что? А ей вынь да положи какую-то любовь. Мука же еся, какая ей любовь?

— Женщине, — сказал я, — не только муки и сахару надо, а чтоб любовь была еся.

Вернулся домой. На крыльце — дамы со второго этажа. Трезвые, виноватые, прилично одетые.

— Ну, что, красавицы, не надо больше звать Татьяну Васильевну?

Они как-то смущенно похихикали и сообщили, что едут в деревню.

— Принудительно? Добровольно?

— Ну, если кто придёт, скажите, чтоб больше не приходили, — стали поручать мне дамы.

— Нет, я на это не гожусь, — сказался я. — Я Татьяну позову.

Они опять похихикали. На том и расстались.

К вечеру началась гроза. Далёкие, слабо озвученные молнии неслись параллельно линии горизонта, тут же их сверху вниз перечёркивали другие, словно десница Всемогущего крестила тёмное нашествие туч с запада. Гроза подошла вместе с ливнем, молния уже не отделяла свой высверк от удара грома, всё покорствовало стихии, деревья свежели, мокли, темнели, песчаная дорога набухла и запенилась, мальвы и георгины в палисадниках кланялись до земли.

И тут же — ещё не отдождилось — встала радуга! Такая чёткая, широкая, как в детстве на коробке цветных карандашей. Она будто показала, какое там, в потустороннем мире, сияние, будто её специально впустили в щёлочку неба, как солнечный лучик в темницу, для утешения и ободрения.

А ближе к ночи начались тихие, безмолвные зарницы. Они были с другой стороны от уходящей грозы, тянулись за ней. И гром, рождаемый молнией, что-то говорил зарнице, но ревнивая молния уводила его к востоку.

Как горько, как отрадн пахнут осенние флоксы, как безропотно вянут отцветающие гладиолусы, и пчёлы торопятся в последний раз навестить их.

Золото лугов, мелеющая река, тихие голоса светлых родников, серебристые ивы над мокрой тропинкой, неутомное шевеление и щебетание растущих птенцов... В небе — парящий крест чайки. А выше — облака, облака, за ними — небесная твердь. А за ней — вечное золотое сияние всех цветов радуги.

Ночью на тёмном небе — молодой месяц, будто начали промывать небесную твердь и уже процарапали золотую запяную. Как же хорошо жить, и за что нам, таким скверным по плоти и духу, дана такая радость?

ПО МЕСТАМ СТОЯТЬ

Самой пронзительной мечтой моего детства было стать моряком. А военкомат послал меня в ракетную артиллерию. Тоже хорошо. Но стремление дышать воздухом морей и океанов было всегда. Помню учения “Океан” 1970 года на Северном флоте, я писал о них и жил на эсминце “Отрывистый”. Тогда и познакомился с молодым выпускником морского училища, порывистым, вихрастым лейтенантом. Он не ходил — он летал по кораблю.

Тридцать лет прошло. Москва, патриаршая служба в память погибших моряков-подводников. Плачущий седой капитан первого ранга. Не чувствуя горячих капель воска, стекающих с горящей свечи, он отрешённо и горестно смотрит на алтарь. “Он! — толкнуло меня. — Он, тот лейтенант”. У выхода я подождал его. Мы встретились глазами.

— Североморск, — сказал я, — эсминец “Отрывистый”. Учения “Океан”.

— Писатель! — воскликнул он. — Есенина читал. Чего ж ты такой старый?

— А жизнь-то какая!

Мы крепко обнялись. Не слушая никаких возражений, капитан первого ранга, сокращённо, по-морскому — каперанг или капраз, повёз меня к себе.

— Море — это навсегда, — говорил он, лавируя на мокром шоссе за рулём “Жигулей”, как за штурвалом катера. — Навсегда. Это ж про нас, мореманов, шутка: “Плюнь на грудь — не могу уснуть без шторма”. Я после Северного флота везде поселился — и на Тихом, и на Чёрном, заканчивал в Генштабе. Сейчас... сейчас, ну, что сейчас, живу.

И вот мы сидим в его квартире. Она настолько похожа на корабль, что, кажется, пройдёт секунда — и каперанг прямо в шлепанцах отдаст команду: “С якоря сниматься, по местам стоять!”

— Сегодня мне одна команда осталась, — невесело говорит он, — команда эта: “Отдать концы!” И отдам. И все мы, моего возраста мореманы, тоже. Зачем нам жить? Чтоб ещё и ещё видеть позор и поругание флота?

Я стараюсь успокоить моряка, но, конечно, это бесполезно. На стене — карта “Мировой океан”. На карте синими флажками обозначены места трагедий, кораблекрушений, катастроф. На южной части Баренцева моря нарисован чёрный крест: тут потопили атомную подлодку “Курск”.

— Именно потопили, — говорит каперанг. — Сними с карты кортик, дай сюда. Нет, достань из ножен. Вот, кладу руку. Руби! Не бойся, руби. Я руку даю на отсечение, что “Курск” потопили американцы. Если у наших хватит смелости, это все узнают. У них, у натовцев, недавно был фильм “Охота за “Красным Октябрем” — это рассказ о потоплении подлодки типа “Курск”. Они, вопреки всем конвенциям, вошли в район учений, что уже за всеми пределами допустимого. И шарахнули, как акулы кита на мели. Шарахнули и добивали, чтоб никого в живых не осталось, чтоб без свидетелей. Чего ж не рубишь? Прав я, прав, с рукой останусь.

Каперанг тяжело дышит, глядит на стол. На столе по ранжиру стоят бутылка водки, фляжка коньяку и пузырьки с сердечными каплями. Подумав, каперанг берётся за самую маленькую ёмкость.

— Первым стал задницу америкашкам лизать Никита-кукурузник. Вроде смелый, по трибуне ботинком стучит, а новейшие корабли резали на металлолом, лучших офицеров увольняли. Помню, в газетах, в той же “Правде”, всякие статьи: вот, мол, как полковник счастлив, что пошёл в ученики слесаря на завод. Всё Хрущ лысый! А свою трусость и подлость списал на батьку усатого. Мне батька тоже не икона, но нас при нём боялись. Боялись дяди Сэмы, и слоны их, и ослы боялись. Другого языка эти животные не понимают. Америку же образвала европейская шпана, отбросы каторжные, уголовщина. На индейское золото купили европейские мозги, вот и весь секрет. Про индейцев создали фильмы, мозги придумали конституцию. У них национальные интересы Штатов — во всём мире. Я был у них на базе в штате Аризона, там огромный плакат: “Глобальная власть Америки — контроль за всем миром”. И не меньше. Леня ещё Брежнев, как бывший вояка, держался, а уж Горбач, а уж Боря-хряк — эти подмахивали НАТО, как могли. Заметил, что они ничего не выкали, когда парней пытались вытащить? И этот, теперешний, с ними встречается... Нет, пока он себя мужиком не проявит, ничего у него не выйдет. Слопают или сам по-русски пошлёт всех на три буквы и запьёт. Вон Бакатин, мне говорили, пьёт вмертвую. То есть совесть ещё есть. А! — Каперанг взялся за ёмкость побольше. — Давай не чокаясь — за парней. — Он выпил и, видно было, еле справился со слезами. Встал, подошёл к окну, поглядел на московскую осень. Пошёл к карте:

— Где ещё придётся крест рисовать? А я ведь, знаешь, и не думал, что ещё слёзы остались, а за это время сколько раз прошибало. До какого сраму дожили: поехал наш пьяный боров в Берлин оркестром дирижировать, когда с позором нас из Европы гнали! Эх! Коньяк — это несерьёзно, давай “кристалловской”. — Каперанг успокоился, сел, смахнул на пол стопку газет. — Если б не эта зараза, да не этот вот, — он показал на телевизор, — мы бы выжили. Я когда энтэвэшников смотрю, я весь экран заплёвываю. Думаешь, один я такой? Все бы эти плевки на них — они бы в них захлебнулись! Вот телебашня горела не просто, как объясняют, мол, от перенагрузки. От жадности! Грузили провода по-чёрному, они и задымались. Но главное — даже уже и башня не выдержала всего того срама, что её заставляли передавать. Вещи и предметы не безгласны — это, кстати, моряки лучше всех знают.

Да и вообще я к старости стал умные книги читать. Где я раньше был? Вот прочти у Иоанна Златоуста о зависимости погоды и урожая от нравственности общества. Это очень точно. Я, кстати, опять же с детства знал пословицу: “Что в народе, то в погоде”. Так ведь во всём. Вот я полощу начальство, вся страна полощет, но давай задумаемся: мы же их заслужили.

— Да! — резко вдруг сказал он, я даже вздрогнул. — Знаешь, когда мы первый раз серьёзно по морде схлопотали?

— В Сербии?

— Точно. Бандиты и хамы бомбили братьев, а мы только вякали протесты. Потом послали Красномордина замирать — ещё бы, умеет, перед бандитами Басаева в Будённовске шестерил... А, чего-то я совсем разволновался.

Я стал было прощаться, но каперанг заявил:

— Нет, я тебя в таком настроении не отпущу, нет. Я близко знал нынешнего адмирала, для конспирации назову Черкашин, мы с ним на Чёрном болтались. А уже началась горбачёвщина, он всем торопился доложить, что мы за мир, мы разоружаемся. Американцы трусы, поэтому слабину чувствуют. Стали к нам захаживать. Они и всегда-то в нейтральных водах паслись, тут стали наглеть: зайдут в территориальные наши воды, подразнят, потом хвостом вильнут. Мы докладываем: что делать? Нам: не конфликтовать. Ладно. Те хамяют, ходят по палубе в трусах, кричат: “Рашен, делай собрание, голосуй”. Ладно. А этот Черкашин был вторым на эсминце. Я тогда был начальником боевой части. Сидим в кают-компани, материмся. Черкашин командиру говорит: “Товарищ командир, вы же два года без отпуска, пора же вам отдохнуть. Оставьте на меня корабль”. Командир, золотой был мужик, вечная ему память, смеётся: “Нет, Коля, боюсь, больно ты горяч, как бы международного скандала не наделал”.

Ладно. А главком флота был — это был главком! — он тоже в Москве зубами скрипел, мы ему прямую картинку показывали, он же видел, как янки к нам голым задом стоят. И вот — слушай. Не знаю, как они договорились, но думаю, что Черкашин это всё сам проделал. Он заступил на вахту и ночью палубникам приказал все шлюпки, всё, что за бортом висит, прибрать. То есть остались с чистыми бортами. Утро. Те, на крейсере, кофе попили, прут в наши воды, внаглую прут. Гляжу, Черкашин сам у руля. Те прут, они же привыкли, что мы безгласны, у нас же гласность только тут, — каперанг ткнул рукой в направлении телевизора. — Прут. Наш эсминец спокойнѐхонько пошёл навстречу, сделал ювелирный маневр и навалился бортом на борт американца. Те охренели. Все их шлюпки захрустели, как орехи, бассейн на палубе расплескался. Мало того, Черкашин спокойно, но резко замедлил ход и ещё протѐр их по борту. А дальше — ещё мощней: отработал полный назад, потом — полный вперѐд, навалился на другой борт и его прочистил.

— Боже ж ты мой, — воздел каперанг руки, — что началось! Через десять минут Горбач обо всём знал и разродился: разжаловать, наказать, посадить виновных, извиниться! Но главком, повторяю, мужик был от и до, тут же докладывает: накажем, уже наказали, виновного офицера представляем к суду чести, списываем на берег. Да, суд чести был честь по чести, так скажу, Черкашина качнули. А с эсминца, точно, списали... на другой эсминец. Командиром. Ты знаешь, я уверен, америкашки это очень хорошо помнят. Тогда ж сразу уползли в Стамбул бока шпаклевать. С ними только так. Только так! Во-первых, они не за деньги не рискуют — жадны, во-вторых, трусливы. Но всё время теперь будут кусать, как шакалы льва, который слабеет. Пока не дашь отпор, будут приставать.

Мы простились. Кортик со стуком вернулся в ножны и водрузился на место, в центр Мирового океана.

Он вышел меня проводить до лифта. Лифта не было почему-то.

— Чубайс электричество отключил, — невесело пошутил каперанг. — А знаешь, как он умирать будет? Он даже не помирать, он подыхать будет. На вонючем тюфяке и при свете огарка. Да. Остальные приватизаторы — примерно так же. Я человек не злой, но знаю, что возмездие неотвратимо. Вот вы там пишете, что, мол, велика угроза Америки, это так, и мы об этом

поговорили. Но главная угроза — здесь. Не масоны окружили президента, а уголовники. За деньги накупили мест в Думе, депутаты у них — шестёрки, уже им и цена известна. Криминал — вот угроза. Но, как всегда, “наше дело правое, победа будет за нами!” У уголовников и нравы уголовные. Знаешь, как говорится: “Жадность фраера сгубила”, — этих тоже сгубит. При условии, что они до тех пор нас не сгубят. Давай. Топай по трапам пешком. Да! — воскликнул он. — Самое главное, что ж вы не написали, что Сербию бомбили самолёты марки “Торнадо”, и смерч “Торнадо” смёл тогда же многие штаты. Возмездие же было. И ещё будет. Держи пять, — сказал он, — как говорят на флоте. — Крепко пожал мне руку и засмеялся:

— Что же руку-то мне не отрубил, цела! А потому — прав я. Не бойсь, прорвёмся! Главное — по местам стоять!

ЗИМНИЕ СТУПЕНИ

Вятское село Великорецкое. Именно то село, где шестьсот лет назад явилась чудотворная икона Святителя Николая. В начале лета сюда идёт многолюдный Крестный ход из Вятки, и вообще всё лето здесь полным-полно приезжих — и молящихся, и просто любопытных.

Места удивительной красоты, взгляд с горы, на которой стояла сосна с иконой, улетает в запредельные пространства. Небольшая, похожая на Иордан река, источник и купальня около неё очень притягательны. В реке купаются, а кто посмелее, тот погружается в ледяную купель. Зимой купель перемерзает, но источник всё льётся и льётся. Только нет у него, как летом, очереди: пусто на берегу. Но в церковные праздники всё-таки вода льётся не только в реку, но и в баночки, и в бутылочки: это старухи после службы приходят за святой водой.

Пусто зимой в селе, заснежено, просторно. Даже и старухи эти, что стоят на службе в церкви и ходят за водой, не местные, а из районного центра, приезжают на автобусе, который ходит два раза в день, а иногда — ни разу. Но в праздники ходит.

Накануне Рождества двое мужчин, Аркаша и Василий, делают ступени к источнику. Оба одного года, обоим за пятьдесят, но Василий выглядит гораздо старше: судьба ему выпала нелёгкая. Всю жизнь, лет с четырнадцати, на тракторе, в колхозе. Нажил дом, вырастил детей. Дети поехали в город. Жена умерла. Дети уговорили продать дом, чтобы им купить квартиру. Купили. А недавно сын попал в одну историю, ему угрожала или тюрьма, или смерть от дружков. Надо было откупаться. Продали квартиру, сын сейчас живёт у родителей жены, а Василий здесь, из милости, у дальних родственников в бане.

Аркаша молод и крепок на вид, в бороде — ни одной сединки. Аркаша — городской человек, приехал сюда по настоянию жены, она певчая в церкви. Руки у Аркаши сноровистые, батюшка постоянно о чём-то просит Аркашу. Аркаша, конечно, руководит Василием.

Василий работает ломом, Аркаша подчищает лопаткой.

— Дожди на Никольскую ударили, экие страсти, — говорит Василий, — всегда Никольские были морозы, а тут дожди. Но уж рождественские своё берут. — У Василия на красных щеках — замерзшие слёзы. Теплогрейку он давно снял, разогрелся, Аркаша — в тулупчике. — Но уж зато сколько *спасиб* завтра от старух услышим, — разгибается Василий.

— Похвала нам в погибель, — рад поучить Аркаша, — нам во спасение надо осуждение и напраслину принять, а ты *спасибо* захотел.

— Не захотел, а знаю, что старухи пойдут, благодарить будут, какая тут погибель?

— Плохо ты знаешь Писание, — укоряет Аркаша. — Вот ты знаешь великое славословие? Нет, не знаешь. А завтра в церкви запоют, и ты будешь стоять и ничего не понимать. Но это-то должен знать: “Слава в вышних Богу, на земли мир, в человецех благоволение”. А? Ангельское пение в небе-

сах слышали пастухи. Пастухом был небось? Вот, а ангельского пения не слышал, так ведь? По нашему недостоинству. В мир пришёл Спаситель, и не узнали! — с пафосом произносит Аркаша. — Места в гостинице не нашлось, в ясли положили Богомладенца. Царя Вселенной!

— Я в хлеву часто ночевал, — простодушно говорит Василий. — Снизу — сенная труха, сверху сеном завалось, корова надышит, в хлеву тепло. Она жуёт всю ночь, я и усну. Утром она мордой толкает, будит... — Василий спохватывается, заметив, как насмешливо глядит на него Аркаша, и начинает усердно откалывать куски льда. Аркаша учит дальше:

— По замыслу Божию, мы равны ангелам.

— Нет, — решительно прерывает Василий, — это уж, может, какая старуха, которая от поста и молитв высохла, светится, — та равна, а мы — нет. Я, по крайней мере. Ближе к этому не стою. Ты — конечно. Ты понятие имеешь.

— Я тоже далёк, — самокритично говорит Аркаша. — Были б у нас сейчас деньги, мы б не ступени делали, а пошли б и выпили.

— Вначале б доделали, — замечает Василий.

— Можно и потом доделать, — мечтает Аркаша, но спохватывается:

— Да, Вася, в Адаме мы погибли, а во Христе воскресли. Так батюшка говорит. Христос — Истина, а учение Его — пища вечной истины. Это я в точности запомнил. У меня память сильно сильная. Вот и на заводе — придут из вузов всякие инженеры, а где какой номер подшипника, какая насадка — все ко мне...

Батюшка уже сходил в церковь, всё подготовил для вечерней службы, велел послушнику Володе не жалеть дров, вернулся в дом и сидит, готовит проповедь на завтра. Перебирает записи, открывает семинарские тетради. Так много хочется сказать, но из многого надо выбрать самое необходимое. Батюшка берёт ручку и мелко пишет, шепча и повторяя фразы: “Мы не соедемимся со Христом, пока не пробудим в себе сознание греховности и не поймём, что нашу греховную немощь может исцелить только Врач Небесный”. Откладывает ручку и вздыхает. Когда батюшка был молод, принимал на себя сан, дерзал спасти весь мир. Потом служил, бывал и на бедных, и на богатых приходах и уже надеялся спасти только своих прихожан. А потом думал: хотя бы уж семью свою спасти. Теперь батюшка ясно понимает, что даже самому ему — и то спастись очень тяжело.

— Ох-хо-хо, — говорит он, встаёт, крестится на красный угол, на огонёк лампадки и подходит к морозному окну.

Последнее на сегодня солнечное сияние розоватит морозные узоры. Тихо в селе. Из труб выходят сине-серые столбики дыма. “Так и молитвы наши, — думает батюшка, — яко дым кадильный”. Он возвращается к столу и записывает: “Благодатная жизнь возникает по мере оскудения греха”. “Нет, надо проще”, — думает батюшка. Но тут же возражает себе:

— Но куда проще говорил Господь Каину, а тот умножал свои грехи. Праведный Ной разве не призывал покаяться? То же и праведный Лот. И не слушали. И на горы приходили воды, и огненная сера падала на Содом и Гоморру. Проходили воды, смывавшие нечестие, но проходил и страх гнева Божия, опять воцарялся порок, плясал золотой телец, опять всё сначала. Господи, как же ты терпелив и многомилостив! Строили столп вавилонский, чтобы увековечить себя, свою гордыню. Господь смещением языков посрамил гордыню человеческую, они же стали воздвигать башни в себе. И опять Господь попустил свободу их сердцам, чтобы сердца их сами увидали гибель. Нет, не увидали. Через Моисея дал законы и обличил немощь человеческую, и опять: разве послушали?

Батюшка снова встаёт, снова крестится, кладёт три поклона и уже не замечает, что говорит влух:

— Пророки говорили и умолкли, дал время Господь выбрать пути добра и зла, жизни и смерти. Всегда-всегда был готов Господь спасти, но люди сами не хотели спастись. И когда прииде кончина лета, кончина обветшавших дней, послал Господь Сына Своего Единородного в палестинские пределы.

Мысли батюшки улетают в Вифлеем. За всю жизнь батюшка так и не смог побывать на Святой Земле, может, оттого так обострённо и трогательно он старается представить себе всю её: и Назарет, и эти ступени, которые вели к источнику Благовещения, и ступени к пещере, в которой, повитый пеленами, лежал Богомладенец и куда вела звезда, и неграмотных пастухов, и образованных волхвов, и ступени на Голгофу... Батюшка всегда плачет, когда представляет Божию Матерь, стоящую у Креста. Сын умирал на её глазах. Сын! Господи, только по Его слову сердце Её не разорвалось — ещё много Ей предстояло трудов.

— Дедушка, — влетает в комнату внучка, — а Витька говорит, что игрушки на ёлке — это слёзы, что это ты говорил. Какие же это слёзы?

— А, — вспоминает батюшка, — да, говорил. Видишь, Катюша, у нас — ёлочка, а на юге — пальма. Пальма же ближе к Вифлеему. Все деревья собрались славить Рождество Христа, а ёлочка опоздала, ей же далеко. Опоздала и заплакала. У нас холодно, слёзки замерзли. Господь ей сказал: “Все твои слёзы будут тебе как драгоценности”. Вот мы и наряжаем с тех пор ёлочку.

— А ещё Витька сказал, — ябедничает дальше внучка, — что Дед Мороз — это не Дед Мороз, а Санта-Клаус, американский, говорит. Да, дедушка?

— Нет. Санта-Клаус — это святой Николай, какой же он американский, он христианский, православный.

Внучка улетает. Батюшка облачается к вечерней службе. Он любит вечерние службы. У печки обязательно дремлет приехавший заранее старичок, которому негде ночевать, но который просыпается точно к елеопомазанию. Любит батюшка исповедовать именно вечером, без торопливости, спокойно, читая корявые строчки незамысловатых грехов: “Невестка обозвала меня, а я не стерпела и тоже обозвала, каюсь...”

Рождественское утро. Кто-то приехал ещё до автобуса, успел уже побывать на источнике.

— Ой, Аркадий, — благодарят громко женщины, — это ведь такая красота, прямо как в санатории ступеньки, а мы шли, переживали, как попадём.

— Думали, как Суворов через Альпы, да? — довольно шутит Аркаша.

И в автобусе народу — битком, и в церкви — стеной. Василий забивается в самый конец, за печку, видит, что вьюшка на печке хлябает в своём гнезде и около неё поддымлено, закоптилось. Василий вспоминает, что у него в предбаннике есть глина и белила, и решает завтра же починить печку.

Начинается служба. Конечно, Василий не понимает многих слов, не понимает всего пения, но ему так хорошо здесь, так умирительно глядеть на горящие свечи, слушать батюшку, согласный молитвенный хор, видеть, как открываются и закрываются царские врата, как летит оттуда, из алтарного окна, сверкание рождественского солнца, и вдыхать сладкий запах кадильного ладанного дыма. Василию становится жарко, хотя он заранее снял телогрейку и стоит в старом свитере сына. Он чувствует, что нос у него расклеивается, думает: “Где это я простыл?” Достает носовой платок, высмаркивается тихонько и ощущает, что у него мокрые глаза. Он понимает, что это от умиления, оттого, что так хорошо ему давно не было, что вот он, всеми брошенный, никому не нужный, нужен и дорог Господу, что Господь его не оставил, что ноги, слава Богу, носят, руки работают, никому не в тягость, голова соображает, что ещё? Может, ещё какую работу найдёт, чтоб сыну помогать. “Пусть бы всё на меня валилось, — думает Василий, — ещё же и мать, покойница, говорила: “Кого Бог любит, того наказывает”. И это, материнское, вспомнилось ему именно сейчас, в церкви, значит, жило в нём и ждало минуты для утешения. “Любит меня Бог, — понимает Василий. — Любит. Ведь сколько же раз я мог умереть, погибнуть, замёрзнуть, спиться мог запросто, а живу”. Василий украдкой вытирает рукавом слёзы.

Аркадий стоит впереди всех, размашисто крестится. Но ему не до молитвы — надо готовить ёмкости для водосвятия. Он выходит на паперть и кричит проходящему соседу:

— А по какому праву службу прогуливаешь?

— Ты ж знаешь, я в церковь не хожу, — отвечает сосед.

— Надо, — сурово назидает Аркаша. — А если в церковь не пошёл, ставь бутылку, я за тебя свечку поставлю.

Сосед смеётся и бежит дальше.

Аркаша разбивает лёд в бочке, начерпывает воды в ведра, несёт в церковь. Батюшка заканчивает проповедь:

— ...и каждому, и всем нам даётся время на покаяние. Долготерпелив, милостив Господь, не до конца прогневается, говорят святые отцы, но мы-то, грешные, доколе будем полнить чашу греховную, доколе? Ведь уже через край льётся...

Батюшка долго молчит. Слышно, как потрескивают свечи. Звонят колокола. В морозном солнечном воздухе звуки их чисты и слышны далеко окрест.

БУМАЖНЫЕ ЦЕПИ

С годами всё обостреннее вспоминается детство, особенно Новый год. Ёлочных игрушек у нас было мало — терялись куда-то. Вот была картонная курочка, бронзовая, с крохотным красным гребешком, а принесли из чулана коробку с игрушками, разбираем — нет курочки. Клоун тут, самолётик тут, домик тут, где курочка? Начиналось следствие. Старшая сестра вспоминала сама и заставляла всех вспоминать: кто в прошлом году разбирал ёлку, кто? Никто не помнил. И вообще никто не любил разбирать ёлку, всем хотелось, чтоб она подольше стояла. Значит, родители. Но чтобы родители могли сделать что-то небрежно, такого и подумать было невозможно. Потерянная курочка становилась ещё дороже именно оттого, что была потеряна.

— К соседям ушла, на соседский сарай, — говорила мама, — там несётся. Ничего, к Пасхе вернётся, без яиц не останемся, не переживайте.

В заботах о новой ёлке курочка забывалась. Да если бы она и не пропала, всё равно надо делать новые игрушки. И фонарики, и цепи, и снег, и флажки. Оказывается, отец уже приготовил старые газеты, пузырёк клея, кисточку, краски. Все хотели клеить кисточкой, ссорились. Но мало-помалу налаживалась работа дружной бригады. Мама стригла газеты на длинные узкие полоски, их с одной стороны покрывали разными красками или тушью, они быстро сохли, их резали на равные частички — это для цепей. На фонарики — тетрадную бумагу. Для “снега” жертвовали разноцветные промокашки. Первое кольцо для цепи склеивалось сразу, второе, в виде полоски, продевалось в первое, потом тоже склеивалось. И так далее. Подбирали цвет, чтоб не было подряд двух красных колечек или двух синих. Клея к этому времени не оставалось, и вместо него пользовались варёной картошкой. Хорошо бы, конечно, сделать клейстер из муки, но если можно картошкой, то зачем тратить муку?

Мама доставала со дна швейной машинки “Зингер” шпульку ниток. Шпульку раскручивали, сматывая с неё столько нитки, чтобы её хватило на несколько раз от стены до стены. Это для гирлянд с фонариками и флажками. Гирлянды возносились на свои места самыми первыми, ещё до появления ёлки, чтоб потом её не тревожить.

А цепи, копящиеся около стола шуршащей грудой, всё удлинялись и удлинялись. И уже мне казалось, что хватит, нет, старшие продолжали трудиться, значит, и я с ними. Младшие засыпали прямо за столом. И на другой день, в последний день старого года, ещё все делали цепи. Но уже без нас со старшим братом — мы шли на лыжах за ёлкой. Брат по-мужички затыкал топор за ремень телогрейки, мне доверял только санки.

В лесу, в его тихом, белом сиянии, ожидающем восхождения солнца, ёлочек были целые заросли.

— Эту возьмём! — кричал я, хватая ту, которая ближе. Снег осыпался с ветвей, ёлка радостно зеленела. Любая ёлка казалась мне красавицей, мало того, я любую жалел и желал всем ёлочкам счастливого Нового года.

— *Маленькой ёлочке холодно зимой,* — говорил я, — *из лесу ёлочку*

надо взять домой... Давай побольше наберём, — предлагал я брату. — Все нарядим, им же обидно: вот одну возьмут, а они — так под снегом и жить?

Брат взглядывал на меня с непонятным мне интересом и всё искал и искал единственную из десятков самых разных. Уже и солнце всходило, уже я замерзал и хныкал, а брат всё продолжал поиски. Наконец, решался. Но уж зато и ёлочка у нас была! Ровно под потолок, шатёриком, веточка к веточке, а запах! Будто брат и запах выбирал — запах слышался уже в сениях. В чулане находили прошлогоднюю крестовину или делали новую, устанавливали ёлку и начинали наряжать. Младшие улепляли игрушками подол ёлочки, мне доставались ветки повыше, маме — ещё повыше, брат залезал на табуретку и украшал самый верх. Сестра подавала ему игрушки и командовала. Отец осуществлял общее руководство.

Начинали окружать ёлку цепями. Осторожно, чтоб не порвать, подавали брату, он закреплял первое колечко на лапку у звезды, потом переставлял табуретку, принимал от нас волны бумажной цепи, которая серпантинной спиралью опоясывала разноцветное зелёное чудо.

Особая доблесть была в том, чтобы цепь нигде не разорвалась. Если кто попадал между ёлкой и цепью, работа останавливалась. Попавший вылезал на свободу.

— Ой, не хватит, — переживала сестра, — ой, давайте реже окружать.

Но реже не хотелось, потому что когда много таких цепей, то вся ёлка становилась кружевной. И всегда всё сходилось в самый раз. Последнее колечко укрепляли на ветке у самого пола.

— Это как пельмени стряпаешь-стряпаешь, — говорила мама, — и боишься, вот теста или фарша мало будет, вот лишнее, а всегда выходит точно.

Мы любовались ёлкой. Отец начинал рассказывать, какие ёлки были в его детстве. Мы это, конечно, слышали. Ещё бы ему не помнить — делали фактически для него одного, он был один сын, а кроме него, десять сестёр, наши тётки.

— Один раз тятя поехал на Тихорецкую ярмарку, — начинал отец. Мы уже знали, о чём будет рассказ — о французской булке, но с радостью слушали, потому что таких булок мы не едали. — Поехал и привез всем калачей, сушек, а мне ещё отдельно — французскую булку. Бабушка говорит: “Съешь, Колошкa, половинку сейчас, а вторую половинку завтра”. — И разрежала булку. А мне это так обидно показалось, говорю: “Зашивай, и всё!” И она, что вы думаете, она...

— Зашила! — кричали мы.

— Баринoм рос, — говорила мама, — нечего говорить, баринoм.

— Да, — довольно хмыкал отец, — мне ногами до пяти лет не давали ходить, всё на руках таскали.

— Так уж до пяти? — сомневалась мама.

— Ну, до трёх, — сбавлял отец и вспоминал дальше. — А у нас в деревне были “микаденки”, прозвали их так по отцу; у них отец пришёл с японской войны и всё время говорил: “Микадо, микадо”, — это японское слово такое.

— Это — император, — говорила сестра.

— Семья большая, звали детей “микаденки”. У них был японский фонарь, ох, они им хвалились. Их тоже выслали. Их раньше, успели собраться, может, фонарь сохранили, а нас выслали — ни минуты на сборы, всё бросили. Игрушки пропали. А в Сибири игрушки делали из шишек. Навешаем кедровых, потом орешки щёлкаем.

— Ой, а корова, — вскрикивала мама. — Отец, пойло приготовил?

— Так точно! На моей фабрике ни одной забастовки. Вот как нас ёлка увлекла, даже про корову забыли. А у неё скоро будет телёнок, к ней надо чаще ходить.

Но как же не хотелось уходить от ёлки! Раньше мы наперебой, напередир, как выражалась мама, старались завоевать право нести фонарь, идти с мамой или с отцом давать корм корове, поросёнку, курам, а сегодня маме пришлось назначать себе спутника.

— Нет добровольцев? — спросила она и поглядела на ёлочку. — Ну, конечно, где ж корове против ёлки.

Да, но оставалось в деле украшения ещё одно — “снег”. И оставшуюся цветную бумагу, и промокашки резали мелко-премелко, потом в большом блюде этот “снег” — название “конфетти” мы узнали позже — этот “снег” перемешивался, брат опять залезал на табуретку, я на вытянутых над собой руках держал блюдо, брат пригоршнями черпал из него и обдавал нашу ёлочку, будто дождём. А последние заскрёбышки взлетали над нами и падали нам на головы, на плечи.

— Ой, — пищала младшая сестрёнка, — ой, на реснице сидит, ой, тихо! Ой, упала!

И она начинала реветь.

Младший брат пытался водворить “снежинку” на ресницы сестрёнки, но тут возвращалась мама. Мы ужинали и начинали ждать Новый год.

Не только “конфетти” — всё будет позже: будут папиным-маминим внукам, нашим детям дорогие заграничные ёлочные украшения, мигающие электрические гирлянды, шагающий игрушечный Дед Мороз, луноход на батарейках, трещачие, похожие на взаправдашние, автоматы и настоящий Дед Мороз, приносящий в оплаченное время оплаченный подарок — всё будет. И уж, конечно, съедобные подарки будут другими: фрукты, шоколад, конфеты всех мастей. “Нам бы в детство такие конфеты, — недавно сказала сестра, — мы бы из этой серебряной фольги резали “снег”. Да уж, вспомнили мы свои тогдашние подарки в пакетах из газет: печенишко, конфеты-подушечки, булочка. Пакеты вышли из моды, началась новогодняя упаковка из полихлорвинила, в виде матрёшки, сундучка, царь-пушки, золотого ключика, а то и вовсе в виде Кремлёвской башни...

Но всё-то мне кажется, что у нас было больше радости от Нового года. Больше. Мы сами созидали его. Сидя у керосиновой лампы, тычась от усталости носом в стол и всё равно ни за что не уходя, пока не будет полночь, пока не наступит этот щемящий, так томительно ожидаемый и тут же исчезающий миг — разве можно уйти спать, провалиться в сон? Да ни за что! Мы сидели, глядели на ёлку, кое-что ещё подправляли на ней, каждый раз обсуждая, как будет смотреться перецепленная игрушка на новом месте.

— Ты от порога посмотри, ты близко смотришь, — говорила сестра.

Старший брат брал в руки лампу, и мы торжественно обходили ёлку вокруг.

— Хороводы завтра, — строго говорила сестра. — Сейчас в “морской бой” или в “города”.

— В “пуговки”, — хныкал младший брат. Он уже совсем-совсем засыпал. Младшая давно спала.

Первое своё стихотворение я написал именно в новогоднем ожидании:

*Растёт история, и вот
Мы вместе с ней растём.
И пусть войдём мы в Новый год,
Как в новый дом войдём.*

А наутро так ликовало солнце, будто тоже понимало, что надо жить в новом году по-новому, оставив в старом всё плохое. И хотя мы по-старому ломали лыжи, бросаясь на них с Красной или Малаховой горы, по-старому обмораживались, но всё равно счастье продолжалось: дома нас ожидала ёлка, и её запах соревновался с запахом свежей стряпни. О, эти мамины плюшки, ватрушки, это зимнее мороженое молоко, эти пёстрые пузырчатые блины...

Самое загадочное, что на следующий год бронзовая картонная курочка находилась, и мы спорили, где ей лучше жить на ёлке. Ей на смену терялся домик, потом он тоже находился... И всегда-всегда делали мы бесконечные бумажные цепи, окувывали ими ёлочку.

И вот я, понимающий, что в моей жизни всё прошло, кроме заботы о жизни души, думаю теперь, что именно этими бумажными цепями я не ёлочку украшал — я себя приковывал к родине, к детству. И приковал. При-

ковал так крепко, что уже не откуюсь. Многие другие цепи рвал, а эти — не порвать. И не пытаюсь, и счастлив, что они крепче железных.

Правда, крепче. Детство сильнее всей остальной жизни.

ЗАКРЫТОЕ ПИСЬМО

Ни разу в жизни я не вставал на коньки, но лыжи — душа моя. В местах, откуда я родом, младенцы из родильного дома убегают сами. На лыжах.

Среди нас, мальчишек, жила легенда о необыкновенном лыжнике. Он был из нашего села и бегал на лыжах с такой скоростью, что деревянная лопата, привязанная к ремню, поднималась и летела вслед, не касаясь снега. Мы точно знали, где он сейчас, — его выкрали специальные шпионы, увезли в Америку, загипнотизировали, во сне научили своему языку, и сейчас он выступает за команду Америки. Вот если бы увидеть его, он бы сразу понял обман и вернулся бы из-за “железного занавеса”. Но только надо, чтоб увидели его именно мы, кто бы ещё сказал ему названия: Красная гора, Малахова гора, Волчьи лого — как раз те, где пролетал он над сверкающим снегом, и те, где бегаем мы.

Привычка к лыжам была иногда из необходимости. Инвалид войны Кашин сделал себе для зимы коляску на полозьях и толкался палками. Мы бегали за ним, но недолго, он выпил, стал звать нас на штурм рейхстага и поехал к райисполкому. Что он там кричал, не помню, нас расхватили матери. “Не лезь!” — сказала мне мама, закрепляя запрет подзатыльником. Вскоре инвалид Кашин куда-то исчез. А в нашу мальчишескую компанию пристала девчонка — дочь Кашина, Галка. Мы спрашивали её об отце, она храбрилась и говорила словами матери, что язык довёл и ордена не спасли...

Зимой физкультуру в школе не преподавали. Было глупо учить нас ходить двухшажным, одношажным, попеременным или перекидным способом — все знали их наизусть, в основном изобретали свои. Я, например, бегал странным, неучтённым способом — пока левой рукой отталкивался один раз, правая успевала обернуть палку и отпихнуться два раза. Зимой наш физкультурник Николай Павлович (прозвище его было Колька Падкий) ставил всем пятёрки. Учеников, не выполняющих нормативы хотя бы третьего юношеского разряда, за людей не считали. В каждом классе пять-шесть человек ходили по второму, два-три — по первому разряду, и даже были бегавшие пятёрку и десятку по норме мастеров. Но это было известно только нам, ведь чтобы официально стать мастером спорта, нужно участвовать, как минимум, в республиканских соревнованиях. Наше село было так далеко даже от областного города, что и до него-то нам было не добраться. Даже на лыжах.

Но уж зато соревнования по лыжному спорту в школе были непрерывные, не только в воскресенья, но и в будни: внутри класса, по параллелям, по годам, между школами своего района, соревнования военкомата — приписные подростки, допризывники, призывники. Соревнования на значки БГТО и ГТО, соревнования на значки БГСО и ГСО в зимних условиях, и любое из этих соревнований было радостью. Всё село приходило к школе. Наверное, я тогда весь голос выкричал — так болел за своих. Мы бежали навстречу лыжникам по целине: ступить на лыжно считалось святотатством. После соревнований награждали Почетными грамотами. Грамоты выделял райвоенкомат. На них вверху были профили Ленина и Сталина и слова: “За нашу Советскую Родину”.

Раз в жизни и меня выдвинули на общешкольные соревнования.

Это было в конце февраля. Причём выдвинули не в запасные, не заткнули мной дыру, нет — я был в основном списке! На три километра.

— Только со старта уйди по-людски и перед финишем, понял? — сказал Колька Палкин. — А то с твоей иноходью все со смеха передохнут. — И выдал мне лыжи с ботинками.

Оставшуюся неделю я тренировался, засекая сам себе время по отцовским карманным часам.

Прошёл последний день зимы. Отметелило. Наступил март. Ожидание пятого числа было томительным. Как раз на пятое были назначены соревнования школы, а девятого, в воскресенье — районные. Вся наша большая семья жила в напряжении. Лучшие куски мама подкладывала мне.

В газетах со второго марта начали печатать сообщения о болезни Сталина. Передавали по несколько раз в день по радио. В конце сообщения перечисляли лечащих врачей, список замыкал доцент Иванов-Незнамов. Никто и мысли не допускал, что Сталин умрёт, я только одного боялся: что соревнования отменят. Утром пятого марта я встал вместе с мамой; ещё было темно, горела керосиновая лампа. Я натирал лыжи, мама ушла доить корову. Вдруг она вернулась, не закрыла за собой дверь и сказала:

— Умер.

Все проснулись и не знали, что делать. Включили радио — чёрную картонную тарелку, По радио шла траурная музыка и всё время передавали медицинское заключение о кровоизлиянии в мозг и параличе левой стороны. Пришла соседка, сказала, что Сталина отравили врачи. Она тихо говорила с мамой о том, что теперь будет, особенно рассуждали о том, кто заступит его место.

Я надел лыжные ботинки и пошёл в школу. Соревнования, конечно, отменили, хотя старт и финиш были обозначены и лыжня накануне провешена словыми ветками. Очень жалко было сдавать лыжи с ботинками — ведь их давали только на соревнования, а так мы бегали в валенках с веревочными креплениями. Я пришёл к старту, воображая, будто слышу команду: “Пошёл!” — посмотрел на часы отца, запомнил время и побежал. Вначале я думал просто сделать километровку и вернуться, но когда проскочил поворот, скорость все росла, дыхание было ровным, и с радостью понял, что бегу в полную ликующую силу. День, бывший с утра пасмурным, разгулялся, снега сверкали. Большая ветка стояла на повороте на три километра, я проскочил её и пошёл на пять. И поворот на пять прошёл. Лыжня обозначалась здесь похуже — мало ходили на десять, только призывники. Я стал уставать, но не сдавался, гнал себя. Тем более я боялся Кольки Палкина: вдруг он хватится меня, а я бегаю, изнашиваю казённые крепления, да ещё в такой день...

Что я знал о Сталине? Он — вождь всех времен и народов. О нём мы учили стихи о том, что Сталин не спит в Кремле, думает о нас; утром он закуривает свою трубку и выпускает колечко дыма. Это колечко видит лётчик и думает о Сталине, проплывает колечко над пастухом, тот тоже понимает, что Сталин закурил и начал рабочий, день. Мы пели много песен: “Артиллеристы, Сталин дал приказ...”, “О Сталине мудром, родном и любимом прекрасные песни слагает народ”, “Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальём”... На вечерах строили гимнастические пирамиды, самый верхний кричал: “Товарищу Сталину...” А мы, стоящие на плечах и спинах друг у друга, трижды кричали: “Ура, ура, ура!” Было и неприятное воспоминание. Совсем из детства. В сорок девятом году, в декабре Сталину праздновали семьдесят лет. Портреты его обычно печатались в каждой газете и почти каждый день, а тут стали выходить форматом в целые газетные полосы. Учитель сказал нам, чтоб мы выпустили к юбилею вождя стенгазету. Мы вырезали из газеты портрет. Я решил его украсить — обвел красной рамкой, щеки подрумянил, усы зачернил и приступил к волосам. Тут меня и застиг учитель. Оставил после уроков и долго страдал тюрьмой.

“Ты бы ещё очки нарисовал, — говорил он, — на, рисуй. — Он протягивал карандаш. — Рисуй — и пойдём отдадим тебя кому следует”. Когда я, наконец, понял, что я преступник, учитель велел сжечь портрет при нём. “Возьми спички. Зажги сам. Подойди к печке”. Портрет быстро сгорел. “Разбей пепел. Иди домой и никому никогда не рассказывай”.

...На одном из подъёмов прихватило дыхание и сжало в боку. По потом пошёл спуск, я катился и глубоко вдыхал, задерживая выдох, потом резко сибался. Не выдержал, посмотрел на часы и не поверил: пробежал больше половины, а время будто не шло. Тут уж я приналёг. Я и забыл, что никто не ждёт меня на финише, что некому засечь время, и побежал, как одержи-

мый. Прежнее чувство тревоги тоже подгоняло меня. Озираясь на окна школы, я проскочил финиш.

Нет, ничего в школе не случилось. Только я не осмелился сказать, что бежал на десятку и пробежал быстро. Почему-то казалось, что это нехорошо — умер вождь, а я ставлю рекорды.

Сдал лыжи и ботинки Кольке Палкину. Он был не один в спортзале. Лаборант учителя физики, другой Николай, был с ним и торопливо спрятали что-то звякнувшее, Палкин ничего не сказал, хотя видел, что вид у меня загнанный.

Занятий в тот день не было.

Через три дня, девятого, проходили похороны. Накануне в школе вязали еловые гирлянды. Мы без конца гоняли в лес за лапником. Шёл крупный снег, и создавалось полное ощущение запахов Нового года. Если бы только еловые гирлянды не перевивали чёрными лентами. Гирляндами обвешивали спортзал. Утром было два урока. На литературе учительница вызвала меня, задания я не знал. Я сослался на вчерашнюю занятость трауром и сказал, что мы думали, что урока не будет. “Как не стыдно, — сказала она. — В такой день!.. Ты вообще хоть что-нибудь знаешь?” — “Знаю”. — “Что?” — “Стихотворение — “Трубка Сталина”. Читать?” — “Не надо. А ещё?” — “А ещё стихи Суркова “Сталин — наша слава боевая”. Нет, эти стихи тоже не подходили к пятому марта. Я подумал и объявил:

— *Шведов.*

*Лети в Москву, соловушка,
На зори на закатные,
Привет от нас, колхозников,
Снеси в столицу Сталину...*

Учительница снова оборвала меня, повторила: “В такой день!..” — и поставила четвёрку.

Без десяти двенадцать по классам пробежали и велели всем идти на общее построение. Я задержался, так как просил учительницу поставить оценку в дневник: кто бы мне поверил, что я получил четвёрку? Помчался в спортзал, как раз Колька Палкин и Коля-лаборант втаскивали туда пожарную сирену. Я стал помогать. Приближался директор с чёрной повязкой, с ним заведующий роно. По радио шла трансляция с Красной площади. У нас время было раньше московского на час. Все замерли слушая. И стояли неподвижно. Прошли все речи, гроб с телом установили в Мавзолею, и наступил как раз полдень по московскому времени. На пять минут включались все гудки фабрик и заводов, так же, как в день похорон Ленина. А я как стоял около сирены, так и стоял, и вот ровно в час сирену включили. И она была пять минут.

Я оглох.

Оглох я сильно. Потом постепенно стал слышать, но как-то заторможенно. Как-то запоздало услышал, что в Москве при похоронах были большие жертвы, люди давили друг друга — все хотели увидеть Сталина в гробу. Так же заторможенно воспринял я летом известие об аресте Берии. Мы шли с лугов через поле высокой ржи, и нам попался навстречу знакомый и рассказал. Мы пошли дальше, особенно не веря в то, что Берия — американский шпион. Около школы, где летом был пионерский лагерь, валялись портреты Берии и уже бегала беспризорная Жучка, откликаясь на кличку Берия. И уже пели частушку:

*Что наделал Берия?
Вышел из доверия.
А товарищ Маленков
Надал ему пинков!*

Осенью прошла амнистия, названная почему-то ворошиловской. Была всеобщая радость, так как сидело много родных и знакомых. Но вернулись

в село только несколько человек, а в окрестностях появились выпущенные уловники. Инвалид Кашин не вернулся.

И ещё три года прошло. Я уже вступил в комсомол. Уже вовсю влюблялся, писал стихи, но стеснялся отдавать. Однажды я выступил на общешкольном собрании и подверг суровой критике комитет ВЛКСМ. “Когда же мы будем говорить о деле, о нашей школе, наших делах, видимо, никогда? Все слышали отчётный доклад? Вряд ли. Половина притворялась, что слушает. Да и половина ли? Не больше ли? Многие ученики закончили тракторный и комбайновый кружки, работали самостоятельно. Почему мы молчим об этом? Неужели вся наша работа состоит только в том, чтобы собирать подписи за мир? Это могут и пионеры! Наше дело — именно эта борьба. По-латыни говорят: “Хочешь мира — готовься к войне”. По-русски — “Парабеллум”. Почему нам не доверяют взрослые винтовки и автоматы, вот что должно нас волновать, а мы далеки от этих вопросов. Почему? Да потому, что сплошные трафареты, лозунги; партия, Ленин — это мы и в газете прочтём, надо брать быка за рога...”

Взять быка за рога мне не дали. Выступил директор школы, сказавший, что я допустил “аполитичную ошибку”. Незнакомое слово увеличило мою гордость. Директор предложил комитету ВЛКСМ взять меня под свод контроль. А он лично и коллектив педагогов подумает, что со мной делать.

На уроки меня на следующий день не пустили. Вместо уроков я ходил стоять в кабинет директора, утыкался в корешки многотомников. “И до чего ты додумался? — спрашивал директор. Я отмалчивался. — Ну, стой!”

На четвертый день я пришёл к директорскому кабинету, как на работу, — закрыто. Прождал час — директора нет, пошёл проситься на урок — нет разрешения. Остаток дня я болтался по коридорам, гремел цепью у питьевого бачка, помогал уборщицам тошить печи и чистить ламповые стёкла для второй смены. Последним уроком была история, я любил её, стоял под дверью, слушал. Учительница Маргарита Михайловна, когда рассказывала, то входила в такой раж, что ломала указки, особенно говоря о войнах. Так как вся история состояла из войн, то указок требовалось много. Особенно много указок переломала Маргарита, говоря про десять сталинских ударов, благодаря которым мы выиграли последнюю войну.

Я спрашивал Гальку, в каком из сталинских ударов отец потерял ноги, но она не знала. “Напиши, спроси”. — “Ты соображаешь? Куда я напишу?”

Так как я болтался без дела, ожидая наказания за аполитичность, меня прибрал к рукам Коля-лаборант. Приближались районные соревнования. Впервые они радиофицировались. Я помогал Коле тянуть провода, лазил на столб и нарочно долго сидел наверху. Зависть ко мне была общешкольная.

Колька Палкин в команду лыжников меня не записал, остерёгся, но мне даже лучше: Коля-лаборант окончательно взял меня в помощники. Аппаратура стояла в физкабинете. Перед окнами был старт и финиш. Бессмертную “Рио-Риту” включал я, когда мне в окно кричали, что финиширует кто-то из нашей школы, объявлял результаты. Наши побеждали. Я в восторге начинал допускать всякие вольности, например: “Горячо поздравляем наших товарищей!” Или: “Легенда о летающем лыжнике обретает реальность!” Или: “Мы ожидаем красных маек над снегами, как Ассоль ждала красных парусов!” Я был начитанным юношей. Мою самостоятельность не прерывали, я видел в окно, что директор доволен, — наши побеждали. Они были в красных футболках поверх курток. Оставался финиш “десяток”. Напряжение росло. Мальчишки лезли на деревья, бежали навстречу. Я держал адаптер над крутящейся “Рио-Ритой”. Вдруг в окно закричали, что идёт зелёный, ещё зелёный, а нашего не видно. Отчаяние меня охватило такое, что я неожиданно для себя переключил технику на микрофон и закричал то, что первым выскочило:

— Господа! Седлайте коней: в Париже революция!

Эти царские слова, сохранённые историей, я недавно прочёл в книге.

Примчался в физкабинет директор. Опережая его, влетел Колька Палкин, вырвал с корнем микрофон и протянул его директору. Я думал, со мной расправятся тут же. Директор схватил меня за шиворот и ткнул лицом в аппаратуру:

— Читай!

Я и сам знал, что там написано: “Осторожно, враг подслушивает”. Мне приказали завтра явиться на общее построение.

Общее построение было делом исключительным. Я думал так: ругань долго не выдержу, поэтому надо прийти в обрез. Сумку не взял, так как был уверен, что прямо с построения меня заберут в тюрьму. Больше чем угодно было тогда рассказов, как забирали за пустяк: за анекдот, а тут аполитичное выступление на собрании и ещё такая антисоветская выходка в воскресенье! То, что меня накажут, я не сомневался. Но как? Перед всеми — я выдержу. А если поведут в милицию и будут бить, как врага народа? Это было страшно. Я решил тогда броситься на того, кто будет бить, чтоб меня сразу убили. Во всех кинофильмах о наших разведчиках, попадающих в безвыходное положение, они так и поступали: не желая выдать тайны, кидались на врага, вызывая смерть. Тайны у меня не было, но положение было безвыходным. А если узнают, что мы собираемся у костра на берегу Волчьего лога, что я пишу стихи и читал их друзьям? Друзья оборжали меня, но сейчас это казалось сходкой, подпольным собранием. Я не имел права выдавать друзей.

Школа стояла в каре, я вошёл в него и остановился, глядя в землю. Палкин скомандовал “Смирно!” — и доложил директору. Надо было поднять глаза — я не мог. Что говорил директор, я не различал. Легко представить, что он мог говорить. Многие выскочили на построение без телогреек и зябли, и я чувствовал, что они злятся на меня. Звякнул, но не затрещивал звонок. Я поднял глаза — на крыльцо вышла уборщица и стояла с поднятым звонком. Подскочил Колька Палкин, снял с меня шапку и сунул в руки. Я стал теребить серое полусукно. Уловил я ещё и то, что обвинялся не только в аполитичности, но и в моральном разложении. Оказывается, кто-то выдал, что я писал стихи о любви. “А разве это допустимо в школе?” — кричал директор. Школе ещё раз скомандовали смирно, хотя команды “Вольно!” вообще не давали, а зачитали приказ — я отчислялся. Комсомольской организации предлагалось исключить меня из своих рядов. Последнее было и обидным, и утешительным. Я так рвался в комсомол, еле-еле дотерпел до четырнадцати лет, но было и хорошее — значит, не сразу заберут, надо же вначале исключить. Я решил не отдавать билет, приготовив фразу из “Поднятой целины”: “Вы мне его не давали!”

В Москве в это время шёл XX партийный съезд. В один из дней было сказано, что с докладом выступил Хрущёв, но доклад не был напечатан.

Близилась последние морозы. Школьники их всегда ждали и утром бегали смотреть на пожарную вышку: если на ней вывешивали флаг, то в этот день занятия отменялись — значит, температура ниже тридцати пяти, боялись поморозить учеников. Но именно в эти дни все были на улице и никто не обморозивался, а в другие, более тёплые дни обморозивались сплошь и рядом. Повторяя обычный путь исключенияемых из школы, я стал курить и нарочно старался попасться на глаза учителям. Ждал вызова. Подстергал Гальку, но она всё время ходила не одна, и я притворялся, что иду по делам. Мне очень многое надо было сказать ей, и что стихи были для неё. Какой же это разврат? Галька же может сказать, что я ни с кем не целовался, я же никого, кроме неё, не любил. А потом, что это за свинство друзей, заложивших меня?

Однажды я подстерг Гальку одну около её дома. Она шарахнулась от меня.

Разыскал меня Коля-лаборант и привёл помогать делать проводку. Толстые белые провода “гупер” плохо обматывались вокруг хрупких изоляторов. Работали мы по вечерам, при керосиновой лампе. Школу должны были подключить к комхозовской “нефтянке” — старой, пять раз списанной электростанции.

Имелись в селе и другие электростанции, больше десятка. Мощные дизели были в леспромхозе и сплавной конторе — окна их домов светились ярче всех. К ним же были подключены квартиры работников райкома и райисполкома. Лесхоз, больница, химлесхоз, потребсоюз, сельпо — все имели свои электростанции, но все так себе. В клубе стоял свой двигатель, от машины ЗИС-5. Мы бегали смотреть, как работает “нефтянка”, как хлопает

на сшивах допотопный ремень. Лампочки еле-еле светились, иногда только тлела красноватая нить накала. Так что мы по-прежнему занимались при керосиновых лампах.

Пришли долгожданые холода, и занятия прекратились. В школе было пусто, только в учительской сидела новая учительница литературы и проверяла тетради. Она зябла и натягивала шаль на горло. Когда я ввернул лампочку и лампочка слегка осветила сама себя, учительница вдруг вскочила, взяла патрон в левую руку, правой сильно хлопнула по лампочке, и лампочка засияла. Так я тоже умел, но это был запрещённый способ — укорачивать нить накаливания, чтоб светилось сильнее, но и срок жизни лампочки сокращался.

— “Коль гореть, так уж гореть, сгорая”, — сказала учительница, снова кутаясь в шаль. — А ты, значит, кончил курс наук?

— Да вот, должны из комсомола исключить.

— И ты заранее хочешь осветить этот момент своей историей?

— А я знаю, что это из Есенина вы читали.

— Да уж пора бы и всем знать.

— А правда, — спросил я, — Есенин был запрещённый?.. Почему?

— По чочану, — отшутилась она и строго сказала:

— Мог бы, между прочим, и написать сочинение, мог бы и порадовать-ся вместе со мной, что можно писать на вольную тему: “За что я люблю свою Отчизну”. Эпиграфы подеказываю. Сразу два. “Люблю Отчизну я, но странною любовью” и второй: “Кто живет без печали и гнева, тот не любит Отчизны своей”. Напишешь? Ты ж сам стихи пишешь? Прочти. Я отвернусь.

Значит, уже и тут друзья выдали. Как я ни отпирался, учительница вынула. Глядя в пол, я прочел стихотворение. Оно заканчивалось так:

*Но я любил тебя. И верил,
Что и меня ты тоже ждёшь,
Когда ногами поле мерил
И убирал комбайном рожь.*

И объяснил:

— Я летом на комбайне работал.

— Я поняла, — сказала учительница. — А предмет любви получил эти стихи?

— Это как бы не человек, а Муза, — объяснил я.

— Я была бы рада получить такие стихи. Посвяти их мне.

— Пожалуйста, — обрадовался я. — Только их отобрали.

— А помнишь, — заметила она, — и ещё спрашиваешь, как сохранился Есенин.

Лампочка перегорела. Учительница пошла домой, я нёс тетради. Она жила рядом, и я не успел осмелиться сказать ей, что мой любимый предмет — литература. Я постепенно изменял истории.

Назавтра с утра тоже висел флаг над пожарной вышкой, неподвижные прозрачные столбы дымного тепла стояли над домами. Солнце вышло, охраняемое морозным кольцом.

До обеда я сидел дома, записывал по памяти свои стихи. Но мне казалось, что нехорошо отдавать их учительнице — ведь они были посвящены никакой не Музе, а Гальке.

После обеда за мной из школы прибежала уборщица. “Срочно приказали”. Все сжалось во мне — ведь не учатся! Мама заставила меня выпить молока. Я бросил в печку стихи и оделся.

Оказалось, что было велено провести свет в спортзал. Мы с Колей-лаборантом наспех тянули “гупер”, другие вызванные старшеклассники с Колькой Палкиным таскали скамейки. Вполголоса говорили, что будут читать письмо партийного съезда.

К семи, когда ещё было немного светло, собрались комсомольцы-десятиклассники и все учителя. Я уже не был учеником, но был комсомольцем и посчитал, что имею право.

Колька Палкин безжалостно вышибал любопытных из девятых и восьмых классов. Он хотел выпереть и меня, но Коля-лаборант сказал, что я помогаю.

Пришёл директор, с ним — бывший завруно, сейчас инструктор райкома. Ученики встали. Учителя встали тоже, переглядываясь.

Инструктор достал из портфеля и передал директору большой зелёный конверт.

— Включите свет, — сказал директор.

Свет зажжёгся и ярко осветил белую с изнанки бумагу. Это Коля не пожалел, вернул над столом стоваттку из школьного проектора.

— Проверено? Все, кому положено? — спросил директор.

— Так точно! — доложил Колька Палкин, вставший в дверях.

Началось чтение письма. Читал директор. Инструктор сидел неподвижно и так просидел всё время, а письмо было длинным. Письмо было о культуре личности Сталина. Тишина в зале стояла затаённая. Письмо оглушило нас, и это нас-то, еле-еле захвативших Сталина при жизни, но и то понимавших, что происходит что-то огромное... Что же испытывали старшие?

Какой-то священный ужас исходил от исторички, навьютяжку стоял Палкин, часто мигал, но не шевелился Коля-лаборант, литераторша всё тянула к горлу шерстяную шаль и обводила всех взглядом.

В середине чтения лопнула стоваттка. Она давно уже потрескивала. Вначале ослепило чернотой, потом проявились переплеты окон и деревянная решетка, защищающая стёкла от мячей. Оказалось, что уже поздно, но за окнами плыла луна.

Никто не пошевелился. Остальные лампы светились лёгким красноватым сиянием.

Коля-лаборант пробрался к сцене, вывернул цоколь лампы, вернул запасную, но очень слабую. Директор поднял к ней письмо, но видно было плохо.

— Надо встряхнуть! — услышал я литераторшу. — Иди, — сказала она мне.

— Можно? — спросил я директора.

Директор поглядел на инструктора. Тот сидел неподвижно. Директор кивнул. Я взялся за горячий патрон, ударил по лампочке ладонью. Плохо. В зале зашевелились.

— Мы этого не разрешаем. — объяснил директор вполголоса инструктору. — Но сейчас, понимаете?

Тот сидел окаменев.

Я ударил ещё раз и ещё, и добился — стряхнул вольфрамовые волоски с крючков, а потом соединил напрямую.

— На пять минут, — сказал кто-то из наших.

И вот эта заминка, это отклонение от заколдованной тишины, в которой звучал только пересохший хриплый голос директора — и никто не осмелился сходить за водой! — это напряжение исчезло. В зале зашевелились, стало просторнее. Побежали за водой, слышно было, как гремела цепь у бачка.

Остаток письма слушали свободнее, легче. Кто-то из учителей даже прошептал, и были всем слышны слова: “А мы-то, а мы-то...”

Лампочка не перегорела, но погасла, погасли и остальные. Не потянула “нефтянка”. Зажгли керосиновые лампы, висевшие на вбитых в стены гвоздях. Самую яркую — молнию — держал сзади директора Колька Палкин. Держал, а сам смотрел в сторону, чтоб видно было, что он не подглядывает.

Письмо дочитали. Инструктор встал. В зале тоже встали. Письмо инструктор положил в портфель и первым вышел из зала. За ним директор.

— Завтра в школу, — сказал он, коснувшись моего плеча.

На улице была такая луна, такая у неё была начищенная радостная глупая морда, что и мороза не чувствовалось. Началась возня, побежали на Малахову гору, стащили по пути чьи-то сани.

— Ты завтра в школу придёшь, да? — спросила меня Галька.

— А ты думала, в тюрьму?

Сани неслись всё быстрее, и всё быстрее неслась над лесом ослепительная луна.

— А правда, ты мне стихи писал? — тихо спросила Галька.

Ужас, сковавший историчку, оправдался через месяц. Историю исключили из числа предметов, сдаваемых на аттестат зрелости. Мы учились по истории, искажённой в угоду одной личности, а новой истории не было написано, хотя было сообщено, что для написания новой истории утверждён новый авторский коллектив.

В тот год впервые устраивали праздник проводов русской зимы и был массовый забег на лыжах. Коля-лаборант был пьян и включал “Рио-Риту” на полную мощность. Меня хоть и восстановили в школе, но к радио не допустили. И хорошо — был массовый забег, раннее морозное утро, и можно было бежать по насту даже без лыж — наст держал. Я вырвался вперёд, и мне казалось, что, привяжусь я к ремню деревянную лопату, она бы полетела.

Потом меня обошли.

А про лыжника мы ещё года три-четыре говорили, потом поняли — даже если б его и вернуть, он уже сейчас ведь постарел, наверное. Да и где записано, что американцы — чемпионы, надо же для этого собрать мировые состязания.

Будем готовиться.

“ТИХИЙ ВОЗ НА ГОРЕ БУДЕТ”

Пилить дрова — это наказание. Но колоть дрова — это радость. Колоть дрова — награда судьбы, продление жизни и полезное ликование плоти. Да, устаёшь, хнычет наутро спина, но какое же древнее, мужское дело — колка дров! Сколько удали в этом взмётывании топора над головой, сколько силы в ударе! А расчёт, а глазомер? Точность удара? Опытному работнику много чего говорит еле заметная трещинка на поверхности тюльки. Ставишь её как на плаху, осматриваешь со всех сторон. Где сучок, где извилина — всё надо учесть, чтобы, ахнув, развалить её с одного, много — с двух ударов на двое, а затем покрошить на поленья.

Вот привезли мне дров, свалили. И среди всех — сосновых, еловых, берёзовых, уже напиленных на чурбаки, — выкатили и скинули такой чурбанище. Такой пнище, что земля вздрогнула, когда это чудовище поселилось у меня на дворе.

С утра по морозцу звонко разлетаются берёзовые поленья; кряхтя, раздираются еловые; сосновые всяко сопротивляются, но всё равно рassaживаются и поддаются. И вот я колол дрова, колол, а сам понимал, что всё это у меня — репетиция, всё это у меня — учения перед боем, перед сражением с этим чудовищем, с этим смоляным, перевитым окаменевшими сухожилиями неохватным комлем. Доставало это дерево, наверное, до облаков, облетали его стороны самолёты, отдыхали на нём стаи перелётных птиц. Как его свалили, какой артелью, не знаю. Но мне предстояло порубить его на дрова и превратить скрытую в нём энергию в тепло для жизни.

И вот наступил день, когда я вышел к этому единственному оставшемуся пню в одной рубахе, вооружённый до зубов колуном, клинья, топорами, и сказал:

— Ты понимаешь, что нам двоим не жить. Или ты — или я. Или ты умрёшь — или я умру.

Потом я подумал, что надо с ним по-хорошему, и сказал:

— У меня на дрова больше денег нет.

Пень молчал. Так как все эти дни я на него поглядывал и мысленно примерялся, то стал колуном легонько потюкивать от трещины к трещине. Но это пню было легче щекотки. Я будто по наковальне стучал. Ударил с размаху. Колун отскочил. Хорошо — не в лоб!

У меня были клинья — и дубовые, и два стальных. Я принёс из сарая кувалду и вогнал ею клинья по намеченной линии. Но я как будто гвозди вбил, а не клинья. Стальные вошли целиком, дубовые расщепились и погибли.

Так прошло полдня. Обедая, я всё время помнил о пне, о его булыжниковом спокойствии. Я полежал. В глазах стоял пень. Надо идти. Пень пока-

зался мне ещё огромное. Уже и компромиссы стали мне воображаться: ведь какой хороший — можно устроить из него журнальный столик. Или на нём дрова колоть. Такой монолит, он меня переживёт. Но нет, отогнал я капитулянтские настроения, этот монолит должен сдаться, иначе я перестану себя уважать.

— А тебя не перестану, — сказал я пню. — Ты должен погибнуть, как боец. Но погибнуть. Иначе как мне жить? Ты чувствуешь, что ты делаешь меня первобытным охотником, я с тобой говорю, как с медведем, которого надо убить для продления жизни племени?

Пень молчал. У меня были топоры, которые я вогнал по новой намеченной линии. Пень и не крикнул. Я два раза ходил менять мокрые рубахи, пил чай и угрюмо что-то жевал — восстанавливал силы. Солнце пошло на закат.

Спал я плохо. Утром всё повторилось. И был момент, когда бы я мог отступить, но вспомнил уроки детства. Я всегда был торопыгой, и мама всегда меня осаживала, говоря поговорку: “Тихий воз на горе будет”, — то есть надо всё делать помаленьку-полегоньку. Вот я нацелился на выступ сбоку пня и отколол его. Потом другой, третий. Напряжение стиснутости пня ослабевало. Обошёл один круг, другой. Уже гора скорченных, перекрученных смоляных поленьев лежала вокруг, а пень всё ещё был громаден. Но, уже вогнав рядом с прежними ещё клин, помассивнее, я достал первые клинья и с их помощью пробил новую линию по нетронутому месту. Стал бить кувалдой, с наворотом, как мы выражались. И пень треснул. Вначале тихо, потом с утробными звуками раздиранья телесной плоти. Я загонял в щель всё новые клинья и топоры, всё бил и бил, и не заметил, когда и как порвал рубаху, но пень, наконец, раздвоился. И потом ещё почти весь день я трудился над гигантскими половинами. Потом сложил разделанные в поленья останки пня и поразился величине поленицы.

Великая эта мудрость — помаленьку-полегоньку. С бока, с краешка, по щепочке, по лучиночке. Топлю печь, смолой пахнет, и с какой же благодарностью я вспоминаю те дни, когда шла битва с пнём.

Так бы нам во всем — помаленьку, потихоньку. Куда торопиться, ведь не под гору катимся — в гору идём. “Тихий воз на горе будет”.

УТЯ

Когда ему было четыре года, пришла похоронка на отца. Мать закричала так страшно, что от испуга он онемел и с тех пор говорил только одно слово: “Утя”.

Его так и звали: Утя.

Мы играли с ним по вечерам в большом пустом учреждении среди столов, стульев, шкафов. В этом учреждении его мать служила уборщицей и ночным сторожем.

Утя не мог говорить, но слышал удивительно. Ни разу не удалось мне спрятаться от него за шкафом или под столом: Утя находил меня по дыханию.

Было у нас и ещё одно занятие — старый патефон. Иголки отсутствовали, и мы приловчились слушать пластинку, водя по бороздкам ногтем большого пальца. Ставили ноготь в звуковую дорожку, прикидали ухом и терпели, так как ноготь сильно разогревался. Одну пластинку мы крутили чаще других.

*Цыганочка смуглая, смуглая,
Вот колечко круглое, круглое,
Вот колечко с пальчика, пальчика,
Погадай на мальчика, мальчика.*

Потом патефон у нас отобрали. Два раза Утя напомнил мне о нём. Один — когда мы шли по улице и увидели женщину с маникюром. Он показал и замычал. “Удобно”, — сказал я. Он захохотал. Другой раз он читал книжку о Средневековье, и ему попалось место о пытках, как загоняли иг-

лы под ногти. Он прибежал ко мне, и мы вспоминали, как медленно уходила боль из-под разогретого ногтя.

Утя учился с нами в нормальной школе. На одни пятёрки, потому что на вопросы отвечал письменно и имел время списать. Тем более при его слухе, когда он слышал шёпот с последней парты.

Учителя жалели Утю. В общем, его все жалели, кроме нас, сверстников. Мы обходились с ним, как с ровней, и это отношение было справедливым, потому что для нас Утя был вполне нормальным человеком. Кстати сказать, мы не допускали в игре с Утей ничего обидного. Не оттого, что были такие уж чуткие, а оттого, что Утя легко мог наябедничать.

Мать возила Утю по больницам, таскала по знахаркам. Когда приходили цыгане, просила цыганок погадать, и много денег и вещей ушло от неё.

Ей посоветовали пойти в церковь. Она пошла, купила свечку, но не знала, что с ней делать. Воск размягчился в пальцах. Она стояла и шептала: “Чтоб у меня язык отвалился, только чтоб сын говорил...”

Когда хор пропел “Господи помилуй” и молящиеся встали на колени, она испугалась и ушла. И только дома зажгла свечку и сидела перед ней, пока свеча не догорела. И чем чаще мать ходила в церковь, тем больше верила, что Утя исцелится. Мы купались, и я его нечаянно столкнул с высокого обрыва в реку. Он упал в воду во всей одежде, быстро всплыл и заорал:

— Ты что, зараза, толкаешься?!

После этого ошалело выпучил глаза, растопырил руки и стал тонуть. Мы вытащили его, он выскочил на берег, плясал, кувыркался, ходил на руках и кричал:

*Цыганочка смуглая, смуглая,
Вот колечко с пальчика, пальчика!
Вот колечко круглое, круглое!
Погадай на мальчика, мальчика!*

Говорил он непрерывно, боялся закрыть рот: думал, что если замолчит, то насовсем.

Помню, мы особо не удивились, что Утя заговорил. Мы даже оборвали его болтовню, что было несправедливо по отношению к человеку, молчавшему десять лет.

Утя побежал домой, по дороге называл вслух всё, что видел: деревья, траву, заборы, дома, машины, столбы, ворвался в дом и крикнул:

— Есть хочу!

Мать упала без чувств, а очнувшись, зажгла свечку перед недавно купленной иконой.

Утя говорил без умолку. Когда кончился запас слов, схватил журнал “Крокодил” и прокричал его весь от названия до тиража.

Он уснул после полуночи. Мать сидела у кровати до утра, вздрагивала и крестилась, когда сын ворочался во сне.

Утром Утя увидел одетую мать, сидящую у него в ногах, и вспомнил, что он может говорить. Но испугался, что снова замычит или скажет только: “Утя”. Он выбежал из комнаты и залез на крышу. Сильно вдыхал в себя воздух, раскрывал рот и снова закрывал, не решаясь сказать хотя бы слово.

Он глядел на дорогу, отдохнувшую за ночь, на тяжёлый неподвижный тополь, на заречный песчаный берег, на котором росли холодные лопухи мать-и-мачехи, сверху затянутые тусклой скользкой зеленью, а снизу бело-бархатистые; он видел рядом с крышей черемуху, её узкие листья с красными со-сульками болячек, воробьёв, клюющих созревшие ягоды; печную трубу, над которой струился прозрачный жар, — он мог всё это назвать, но боялся.

Наконец, он вдохнул и, не успев решить, какое скажет слово, выдохнул, и выдох получился со стоном, но этот стон был не мычанием, а голосом, и Утя засмеялся, присел и стал хлопать по отпотевшей от росы железной крыше.

Его мать расспросила нас о том, что произошло на реке, и испекла много-много ватрушек. Мы ели их на берегу, и когда съели, я снова спихнул

Утю в воду, тем самым окончательно равняя его со всеми. Он, однако, обиделся всерьёз.

В сентябре учителя подходили к Уте, гладили по голове и вызывали к доске с удовольствием, чтобы слышать его голос. Но здесь голоса от Ути было трудно дожидаться: он почти ничего не знал, подсказок слушать не хотел и быстро нахватал двоек.

В конце концов, учителя стали его упрекать. В ответ он всегда произносил услышанную от кого-то фразу: “Я детство потерял!”

Он и матери так кричал, когда чего-то добивался. Например, появились радиолы, и он потребовал, чтобы мать ему купила.

Радиола стояла у них на тумбочке в углу под иконами.

Мать слушала только одну пластинку, заигранную нами, — о цыганке. А Утя накупил тяжёлых чёрных пластинок и ставил их каждый вечер.

Особенно любил военные песни, которые мать не выносила. Она просила не заводить их при ней, но Утя отмахивался. Когда он садился к радиоле, мать уходила на улицу.

Утя включал звук на полную мощность, и радиола гремела на всю округу...

УПРЯМЫЙ СТАРИК

На севере вятской земли был случай, о котором, может быть, и поздно, но хочется рассказать.

Когда началась так называемая кампания по сносу деревень, в одной деревне жил хозяин. Он жил бобылем. Похоронив жену, больше не женился, тайком от всех ходил на кладбище, сидел подолгу у могилки жены, клал на холмик полевые и лесные цветы. Дети у них были хорошие, работающие, жили своими домами, жили крепко (сейчас, конечно, все разорены), старика навещали. Однажды объявили ему, что его деревня попала в число неперспективных, что ему дают квартиру на центральной усадьбе, а деревню эту снесут, расширят пахотные земли. Что такой процесс идёт по всей России. “Подумай, — говорили сыновья, — нельзя же к каждой деревне вести дорогу, тянуть свет, подумай по-государственному”.

Сыновья были молоды, их легко было обмануть. Старик же сердцем понимал: идёт нашествие на Россию. Теперь мы знаем, что так и было. Это было сознательное убийство русской нации, опустошение, а вслед за тем и одичание земель. Какое там расширение пахотной площади! Болтовня! Гнать трактора с центральной усадьбы за десять — пятнадцать километров — это разумно? А выпасы? Ведь около центральной усадьбы всё будет вытоптано за одно лето. И главное — личные хозяйства. Ведь они уже будут — и стали! — не при домах, а поодаль. Придёшь с работы измученный, и надо ещё тащиться на участок, полоть и поливать. А покосы? А живность?

Ничего не сказал старик. Оставшись один, вышел во двор. Почти всё, что было во дворе, хлевах, сарае, — всё должно было погибнуть. Старик глядел на инструменты и чувствовал, что предаёт их. Он затопил баню, старая треснутая печь дымила, ело глаза, и старик думал, что плачет от дыма. Заплаканный и перемазанный сажей, он пошёл на кладбище.

Назавтра он объявил сыновьям, что никуда не поедет. Они говорили: “Ты хоть съезди, посмотри квартиру. Ведь отопление, ведь электричество, ведь водопровод!” Старик отказался наотрез.

Так он и зимовал. Соседи все перебрались. Старые дома разобрали на дрова, новые раскатали и увезли. Проблемы с дровами у старика не было, керосина ему сыновья достали, а что касается электричества и телевизора, то старик легко обходился без них. Из всей скотины у него остались три курочки и петух, да ещё кот да пёсик, который жил в сених. Даже в морозы старик был непреклонен и не пускал его в избу.

Весной вышел окончательный приказ. Сверху давили: облегчить жизнь жителям неперспективных деревень, расширить пахотные угодья. Коснулось

и старика. Уже не только сыновья, но и начальство приезжало его уговаривать. Кой-какие остатки сараев, бань, изгородь сожгли. Старик жил как на пепелище, как среди выжженной фронтовой земли.

И ещё раз приехал начальник: “Ты сознательный человек, подумай. Ты тормозишь прогресс. Твоей деревни уже нет ни на каких картах. Политика такая, чтоб Нечерноземье поднять. Скажу тебе больше: даже приказано распахивать кладбища, если со дня последнего захоронения прошло пятнадцать лет”.

Вот это — о кладбищах — поразило старика больше всего. Он представил, как по его Анастасии идёт трактор, как хрустит и вжимается в землю крест, — нет, это было невыносимо.

Но сыновьям, видно, крепко приказали что-то решать с отцом. Они приехали на тракторе с прицепом, стали молча выносить и грузить вещи старика: постель, посуду, настенное зеркало. Старик молчал. Они подошли к нему и объявили, что, если он не поедет, его увезут насильно. Он не поверил, стал вырываться. Про себя он решил, что будет жить в лесу, выкопает землянку. Сыновья связали отца: “Прости, отец”, — посадили в тракторную тележку и повезли. Старик мотал головой и скрипел зубами. Пёсик бежал за трактором, а кот на полдороге вырвался из рук одного из сыновей и убежал обратно в деревню.

Больше старик не сказал никому ни слова.

ЯПОНСКИЙ ЛИФТЁР

В далёкой Японии, на берегу озера Бива, нас поселили в старинной трехэтажной гостинице. Вся в зелени, с выгнутой по краям изумрудной и очень блестящей после дождя крышей, она смотрелась в озеро витражами стекол и была очень уютна. Ещё вдобавок она была знаменита: в ней, будучи ещё наследником русского престола, останавливался император Николай II.

По стриженным лужайкам бродили кричащие павлины, вздымая разноцветные фонтаны своих хвостов, меж павлинов перешлёпывали свои жирные тела белые и чёрные кролики, а на берегу совершенно неподвижно сидели терпеливые рыбаки, на дело которых я ходил смотреть ранним утром и уже с ними здоровался.

Возвращаясь к завтраку, восходил по коврам на резное крыльцо, дверь передо мной открывалась кем-то невидимым, и я входил под звяканье колокольчика на ковры вестибюля. Огромные аквариумы вдоль стен, свисающая с потолка неискusstvenная зелень, разноцветные бумажные фонарики — всё это было очень красиво. А ещё в вестибюле был лифт, в который меня каждый раз вежливо и приветливо приглашал мальчик-лифтёр. Но я жил на втором этаже, и было как-то странно ехать туда на лифте.

Лифт всегда стоял открытым, и проехать в нём очень хотелось. Очень он нарядно был разубран. Освещался гирляндами огоньков, зеркала во всю стену были расписаны такими цветами, что человек, отражаясь в них, чувствовал себя в райском саду. Тем более в лифте были ещё и клетки с разноцветными птичками. Лифт, думал я, сохранился, как реликвия, в нём возили всяких важных мандаринов или вот, скажем, нашего цесаревича. Но вообще я видел, что лифтом иногда пользовались, и отнюдь не мандарины.

И я решился. Вернувшись после долгой, счастливой утренней прогулки по берегу озера, умывшись его чистой водой и став свидетелем поимки двух рыб, я энергично вошёл в вестибюль и поздоровался с мальчиком-лифтёром. Он звал меня внутрь лифта. Я вошёл и оказался в дивном маленьком шатре. Лифтёр приветливо и вопросительно смотрел на меня. Мне по-прежнему казалось, что глупо ехать на второй этаж, и я показал три пальца: на третий. Двери закрылись, как дуновение ветра, птички зачирикали, и мы все враз поехали. Поехали так мягко, неслышно, так нежно, даже как-то трепетно, что это был не подъём, а какое-то вознесение на бережных ладонях.

Ну, вот — третий этаж. Двери растворились. Растворились в самом прямом смысле, так они воздушно исчезли, и я шагнул на узорные ковры треть-

его этажа. И что? И конечно, пошёл к лестнице на свой второй этаж. Но тут случилось вот что: мальчик-лифтёр догнал меня и, схватив за рукав, показал на открытый лифт. Мол, зачем ты пошёл пешком, если можно ехать. Ну, как ему было объяснить, что я живу на втором этаже? Я вернулся в лифт. Снова запели птички, снова я отразился в зеркалах среди райских цветов. И опять: не ехать же всего на один этаж, я показал один палец: на первый.

Приехали на первый. И я, естественно, пошёл на свой второй. И опять меня догнал мальчик-лифтёр и опять зазвал в лифт. И опять привёз меня на третий этаж. Я вышел, отошёл немного и притворился, что рассматриваю старинную гравюру — битву самураев с кем-то. Скосил глаза — лифт стоял. А время меня подпирало, надо было завтракать и идти на конференцию. Я повернул к лестнице. Лифтёр выскочил из лифта и кланялся. Тут уж пришлось показать ему два пальца — выдать этаж, на котором я живу.

Он, конечно, решил, что русский бородатый дядя не может считать до трёх, ибо зачем же я ехал на третий этаж, если мой номер на втором? Я понял, что мальчика очень насмешило мое поведение. Да ведь и я смеялся над собой. И в последующие дни мы с ним весело раскланивались, и я уже смело ехал с ним до второго, отражаясь в искрящихся разноцветными огоньками зеркалах.

Я попросил профессора Накамото, который превосходно знал русский язык, сказать мальчику-лифтёру, что русский дядя очень неграмотный, он даже не может сосчитать до трёх. Профессор, выслушав мой рассказ о поездках на лифте, очень смеялся. И конечно, ради шутки, исполнил мою просьбу. Я это понял, когда увидел, что мальчик, завидя меня, стащил с головы свою круглую шапочку и прыснул в неё, скрывая улыбку.

А однажды я увидел его, когда он меня не видел. Он сидел как маленький старичок в своём разноцветном укрытии и был очень печален. Да и то сказать, легко ли — он работал, самое малое, по четырнадцать часов в день, я и не видел, чтоб его подменяли.

Перед отъездом я подарил ему русскую матрёшку. Ах, как он обрадовался! Он побежал в лифт, в свой домик, и показал мне, что матрёшка будет стоять между клеток двух птичек. И что в его клетке будет теперь повеселее.

А когда мы совсем уезжали и вынесли вещи в вестибюль, он подбежал ко мне и подарил сделанную из лёгких перышек игрушку-птичку. Подошёл автобус. Мальчик вырвал у меня из рук нагруженную книгами и альбомами сумку и потащил к автобусу. Когда я протянул ему деньги, он прямо отпрыгнул от них. Накамото-сан сказал, что он нёс сумку не из-за чаевых, а из чувства дружбы. Автобус тронулся. Мальчик-лифтёр стоял на крыльце и кланялся, приложив руку к сердцу. Таким я его и запомнил.

Я улетел из Японии и стал жить дальше. И часто, бывает, вздохну и вспомню озеро Бива, гостиницу, лифт, этого мальчишку и то, что моя матрёшка ездит с ним вверх и вниз. Может, и он иногда вспоминает бородатого русского дядю, который не умеет считать до трёх.

ОБЪЯВЛЕНИЯ НА СТОЛБАХ

Кажется, в Тюмени, услышал я об одном подростке. И он никак не уходил из памяти. Хотя случай самый, к несчастью нашему, обычный — его родители жили немирно друг с другом, ссорились, дело шло к разводу.

Мальчик любил родителей и очень, до слёз, страдал от их ссор. Но и это их не вразумляло. Наедине с каждым из них мальчик просил их помириться, но и отец, и мать говорили друг о друге плохо, а мальчика старались привлечь на свою сторону. “Ты ещё не знаешь, какой он подлец”, — говорила мать, а отец попросту называл её дурой. И вскоре уже и при нём они всячески обзывали друг друга, не стесняясь в выражениях.

О размене квартир они говорили, как о деле решённом. Оба уверяли, что мальчик ни в чём не пострадает: как была у него тут отдельная комната, так и будет. С кем бы он ни жил. И что он всегда сможет ходить к лю-

бому из них. Они найдут варианты размена в своём районе, не станут обращаться в газету, а расклеят объявления сами, на близлежащих улицах.

Однажды вечером мать пришла с работы и принесла стопку жёлтых листочков с напечатанными на них объявлениями о размене квартиры. Она велела отцу немедленно идти и их расклеивать. И клей вручила, и кисточку.

Отец тут же натянул плащ, схватил берет и вышел.

— А ты — спать! — закричала мать на сына.

Они жили на первом этаже. Мальчик ушёл в свою комнату, открыл окно и тихонько вылез. И как был, в одной рубашке, побежал за отцом, но не стал уговаривать его не расклеивать объявления — он понимал, что отец его не послушает, — а крался, прячась, позади него и следил. Замечал, на каком столбе или заборе, или на остановке отец прилеплял жёлтые бумажки, выжидал время, подбегал к ним и срывал. С ненавистью комкал объявления, рвал, швырял в урны, топтал ногами, как какого-то гада, или бросал в лужи кнзизу текстом. Чтоб никто не смог прочесть объявления.

Так же незаметно вернулся он в дом. Наутро затемпературил, закашлял. С ним родители сидели по очереди. Он заметил, что они перестали ругаться. Когда звонил телефон, снимали трубку, ожидая, что будут спрашивать о размене квартиры, но их никто ни о чём не спрашивал.

Мальчик специально не принимал лекарства, прятал их, а потом выбрасывал. Но всё равно через неделю температура спала, и врачиха сказала, что завтра можно идти в школу.

Он подождал вечером, когда родители уснут, разделся до майки и трусов и открыл окно. И стоял на сквозняке. Так долго, что сквозняк и они почувствовали. Первой что-то заподозрила мама и пришла в комнату сына. Позвала отца. Мальчику стало плохо. Он рвался и кричал, что всё равно будет болеть, что пусть он лучше умрёт, но не даст им разменивать квартиру, не даст им разойтись. Он бился в приступе рыданий.

— Вам никто не позвонит! — кричал он. — Я всё равно сорву все объявления! Зачем вы так? Зачем? Тогда зачем я у вас? Тогда вы всё ввали, да? Ввали, что будет сестричка, что в деревню все вместе поедет, ввали? Эх, вы!

И вот тогда только его родители что-то поняли.

МУСЬКА

Муська — это кошка. Она жила у соседей целых восемнадцать лет. И все восемнадцать лет притаскивала котят. И всегда этих котят соседи топили. Но Муську не выбрасывали: хорошо ловила мышей.

Муська после потери котят несколько дней жалобно мяукала, заглядывала людям в глаза, потом стихала, а вскоре хозяйка или хозяин обнаруживали, что она вновь ждёт котят, и ругали её.

Чтобы хоть как-то сохранить детей, Муська однажды окотилась в сарае, дырявом и заброшенном. Котята уже открыли глазки и взирали на окружающий их мусор, а ночью таращились на звёзды. Была поздняя осень. Пошёл первый снег. Муська испугалась, чтоб котята не замерзли, и по одному перетаскала их в дом. Там спрятала под плитку в кухне. Но они же, глупые, выползли. И их утопили уже прозревшими. С горя Муська ушла из дому и где-то долго пропала. Но всё же вернулась.

Хозяева надумали продавать дом. Муську решили оставить в доме: стара, куда её на новое место. Муська чувствовала их решение и всячески старалась сохранить и дом, и хозяев. Наверное, она думала, что они уезжают из-за мышей. И она особенно сильно стала на них охотиться. Приносила мышей и подкладывала хозяевам на постель, чтоб видели. Её за это били.

Утром Муську увидели мёртвой. Она лежала рядом с огромной, тоже мёртвой крысой. Обе были в крови. Крысу выкинули вороном, а Муську похоронили. Завернули в старое, ещё крепкое платье хозяйки и закопали.

Хозяйка перебирала вещи, сортировала, что взять с собой, что выкинуть, и напала на старые фотографии. Именно в этом платье, с котёнком на ко-

ленях она была сфотографирована в далёкие годы. Именно этот котёнок и стал потом кошкой Муськой.

МОЛОКО КИСНЕТ

Конечно, без прогресса никуда. Но в искусстве лучший прогресс — это следование традициям. Европа от того вознесла русский модерн, что уже пресытилась своими выкаблучниками. А так модерн бездушен. Козе понятно, что это выдрючивание есть обслуживание своего круга. Но “свой круг” хочет постоянно расширяться и влиять на все круги и внаглую доказывает, что, например, “Чёрный квадрат” — это гениально: куб, вечность, тайна, бесконечность, приход в Россию большевизма... Всего наплетут... А Васнецовские “Три богатыря”, “Алёнушка”, например, — “раскрашенные фотографии”.

Ну, ладно. Всё это было. Эренбург, например, называл статуэтку, изображающую спокойного слона, пошлостью, а скульптурку слона в период половой страсти, поднявшегося на дыбы, задравшего хобот, — гениальной (“Люди, годы, жизнь”). Всё им бури хочется!..

Тот же “Чёрный квадрат” — дикость же. Для дураков. Но горланят! И загнали же испуганное правительство в необходимость покупать эту черноту за миллионы!

Но ладно. Расскажу об опыте, проведённом недавно. Конечно, наши тэвэшники народу о нём ничего не рассказали. Опыт таков. На стене были помещены репродукции картин Нестерова, Левитана, Куинджи, Малевича, Шагала, Кустодиева, Кандинского, ещё кого-то. Перед каждой картиной был поставлен столик, а на него поставлен стакан молока. Молоко свежее, налитое в стаканы из одной банки.

Вопрос: в каком стакане молоко скисло быстрее всех? Подсказать? Зачем, все и так сразу сообразили. Конечно, у “Чёрного квадрата”. Всех позднее — у “Берёзовой рощи” Куинджи. Вспомним её радость, простор, свежее дыхание!..

ЛИСТ КУВШИНКИ

Человек я совершенно неприхотливый, могу есть и разнообразную китайскую или там грузинскую, японскую, арабскую пищу или сытную русскую, а могу и вовсе на одной картошке сидеть, но вот вдруг с годами стал замечать, что мне очень безразлично, из какого я стакана пью, какой вилкой ем. Не люблю пластмассовую посуду дальних перелётов, но успокаиваю себя тем, что это, по крайней мере, гигиенично.

Возраст это, думаю я, или изыск интеллигентский? Не всё ли равно, из чего насыщаться, лишь бы насытиться. И уж тебе ли, это я себе, видевшему крайние степени голода, думать о форме, в которой подано питьё или пицца?

Не знаю, зачем заикнулся вдруг на посуде. Красив фарфор, прекрасен хрусталь, сдержанно серебро, высокомерно золото, но завали меня всем этим с головой, всё равно победит то лето, когда я любил библиотекаршу Валю, близорукую умную детдомовку, и тот день, когда мы шли вверх на нашей реке и хотели пить. А родники — вот они, под ногами. Я-то что, я хлопнулся на грудь, приник к ледяной влаге, потом зачерпывал её ладошкой и предлагал возлюбленной.

— Нет, — сказала Валя, — я так не могу. Мне надо из чего-то.

И это “из чего-то” явилось. Я оглянулся — заводь, в которой цвели кувшинки, была под нами. Прыгнул под обрыв, прямо в ботинках и брюках брякнулся в воду, сорвал крупный лист кувшинки, вышел на берег, омыл

лист в роднике, свернул его воронкой, подставил под струю, наполнил и преподнёс любимой.

Она напилась. И мы поцеловались.

...И О ВСЕХ, КОГО НЕКОМУ ПОМЯНУТИ

От того, может быть, так тянет к себе кладбище, что оно означает для кого ближайшее, для кого отдаленное, но для всех неминуемое будущее. Ходишь по дорожкам, вроде как выбираешь себе место. Тихо, спокойно и на тесном городском, и, конечно, на просторном сельском. Кресты, памятники, оградки. Засохшие живые цветы и выцветшие искусственные.

Особенно хорошо на кладбищах поздней осенью. Выпало немного снега, он лежит светлыми пятнами между могил. И всюду золотая пестрота умирающих листьев.

Но ни мрамор памятников, ни громкие фамилии лежащих под ними так не останавливают и так не волнуют меня, как безымянные холмики чьих-то могил. Кто там, в земле? Кто-то же плакал здесь, кто-то же приходил сажать безсмертники, поливать цветы. И почему больше не приходят? Где они? Умерли сами? Уехали? А, может, просто так задавлены жизнью, что и умирать не думают, и сюда не ходят.

В Дмитриевскую родительскую субботу отец Александр служил поминальный молебен. Я ему помогал. Перед началом написал большущий список имён своих родных и близких, уже ушедших в глубины земли. Но у самого батюшки списки поминаемых были вообще огромными, целые тетрадки имён усопших, убиенных за Царя и Веру, за страну нашу Российскую пострадавших. Батюшка читал и читал. Молящиеся всё передавали и передавали ему через меня листочки-памятки. Торопливо взглядывал я на них: там значились имена воинов, младенцев, даже безымянных младенцев, погибших до рождения, и безчисленные ряды имён, имён, имён... Иногда грамотно: Иоанна, Симеона, Евфимия, Иакова, а иногда просто: Фисы, Пани, Саши...

Батюшка читал и читал. Вспомнил я иностранца, стоявшего со мною однажды на субботнем Богослужении. Сказал он: “У нас все службы не более двадцати минут”. А тут только зачитывание поминаемых имён заняло более получаса.

Так вот, зачем я всё это вспомнил? Именно — из-за слов батюшки. Заканчивая поминовение, он, принимая в руки кадило и вознося его молитвенный дым, возгласил:

— Молимся Тебе, Господи, и о всех православных, кого некому помянути.

И вот это “некому помянути” довело до слёз.

Но как же некому? А мы? Мы, предстоящие престолу, в купели крестившиеся, как и те, безымянные для нас, но Господу ведомые? Мы же повторяем слова: “Имена же их Ты, Господи, веши”. Мы же с ними встретимся, мы же увидимся.

Будем помянуть всех от века почивших. Как знать, может, и наши могилы травой зарастут. Вдруг да и нас, кроме Господа, будет некому помянути.

“ДЕДУШКА, Я ПОМОГУ ТЕБЕ НАЙТИ ДОРОГУ”

Мой милый, любимый, единственный! Как же я люблю приходить за тобой в детский садик. Это самое счастливое событие моего дня. Мне так хочется потихоньку подсмотреть, как ты играешь в своей группе, во что и с кем. Но разве можно прийти незамеченным! Ещё только покажешься в дверях, уже десять голосов кричат тебе и десять рук тебя теребят:

— За тобой дедушка пришёл!

Ты выходишь по-разному. То сразу выскакиваешь, жалуясь, что тебя обижают, то идёшь важно, тая в себе какую-то высокую мысль. И одеваешься то быстро, то медленно. А мне и так, и так хорошо. Я люблюсь тобою, ни за что на тебя не сержусь.

— А что ты мне принёс? — всегда спрашиваешь ты.

— А вот если бы я ничего не принёс, ты бы что, сказал “уйди обратно”, да?

Ты весело глядишь и, не отвечая, машешь свитером, как флагом.

Надев брючки и обувшись, ты бежишь вниз и прячешься. Несу твою курточку, шарфик, шапочку, ищу тебя. Ну, конечно же, я каждый раз не знаю, где ты, ведь первый этаж большой. Нахожу — вот где ты! — и радуешься. И ты радуешься.

А на улице — сплошные опасности: дороги, машины. Держу тебя за руку. И на высоком, выгнутом мосту через канал тоже держу. Ты кричишь сверху уткам:

— Эй, утки! Вам там не холодно?

Ты замечаешь новые промоины тёмной воды, бросаешь уткам кусочки приготовленного хлеба и не веришь, что уткам в воде теплее, чем на льдине.

По дороге заходим в магазины. Везде нас знают. Ты всем продавщицам рассказываешь, что было в саду, какая у тебя хорошая сестричка.

— Только она больше не принцесса, а я больше не принц, — сообщаем ты.

— А кто вы?

— Она — Василиса Прекрасная, а я — Иван-царевич. Я её от Кощея спасаю. У меня меч есть, и щит есть, бабушка подарила. Я бился со Змеем Горынычем, я его сломал, меч, а мама отремонтировала.

У нас начинается главная игра. Она называется так: “Дедушка опять забыл дорогу к дому”.

— Да, дедушка, — огорчённо говоришь ты, — ведь ты опять забыл дорогу, опять?

— Забыл, — сокрушённо признаюсь я, — что делать, забыл. Но ведь ты меня выведешь, да? Я без тебя заблужусь.

— Ну, конечно, — великодушно всплёскиваешь ты руками, — конечно. Я тебя не брошу.

По дороге сочиняем песни. Например: “Идём из садика домой, какая благодать! Уже рукой, уже ногой до дому нам подать!” Или: “Мы ходили, шли снега, увязала в них нога. А теперь кругом вода, вот какая ерунда”. Мы шагаем, как солдаты. Ещё бы, ведь мы поём “Врагу не сдаётся наш гордый “Варяг”...” Догоняем девочку из твоей группы. Она хохочет и рассказывает тебе, как у неё была собака, летала, рулила хвостом и улетела в зоопарк. Ты серьёзно слушаешь и одобряешь:

— Это был смешной рассказ.

А иногда замолкаешь и идёшь молча. Я знаю, что тебя нельзя в это время перебивать. Однажды что-то спросил, а ты очень строго заметил:

— Я же молось. Я у Боженьки прошу, чтобы папа и мама не болели. И бабушки, и дедушки, и Василиса Прекрасная.

Конечно, когда ты заинтересован в покупке какого-то лакомства, то тянешь в магазин, а когда надо купить что-то для дома, не очень-то спешишь помочь мне в этом.

— Я не хочу в магазин, я тут подожду.

— Разве я могу тебя одного оставить?

— Но я же богатырь! — говоришь ты.

— Вот поэтому ты меня и не оставляй одного.

Ты то зовёшь:

— Давай лучше пойдём по белу свету счастье искать.

А сегодня вдруг объявляешь о своём открытии:

— А солнце больше неба.

— Почему?

— Небо только вверху, а солнце везде. — Ты разводишь руками и показываешь на всё окружающее нас пространство, освещённое солнцем.

И спрашиваешь:

— А солнце далеко?

— Очень!

— Очень, очень?

— Да. Ещё никто до него не долетел.

Ты смотришь на меня, о чём-то думаешь, потом поворачиваешься лицом к солнцу, делаешь несколько шагов и объявляешь:

— А я уже ближе тебя к солнцу!

Мы идём дальше. Ты выучил звук “ш” и с удовольствием говоришь слова с буквой “ш”. И всё время вспоминаешь Машу, которая шла по шоссе.

— А чего это она, — спрашиваю я, — по шоссе идёт? Надо же по тротуару ходить.

Совершенно резонно ты отвечаешь:

— Тротуары же заняты машинами, вот ведь как. А скажи, бабушка, чем отличаются слова *сушка* и *пушка*?

— Пушка большая, сушка маленькая.

— Нет.

— Сушку едят, а пушка стреляет.

— Нет! — Ты начинаешь сомневаться в моих умственных способностях.

— У пушки колёса круглые, как у сушки, но со спицами.

— Да нет же! — кричишь ты. — Одна буква! С-с-с и Ш-ш-ш! — Тут же ты кричишь машинам:

— Эй, машины, вы что, разве мухи, что вы шумите? Или комары какие-нибудь?

Тебе ужасно хочется шлёпать по лужам, но этого делать нельзя, и ты терпеливо их обходишь.

— Всех лучше осень, — говоришь ты, — спасибо осени — осенью можно по лужам ходить.

Потом по твоей просьбе я пытаюсь объяснить, что такое Бог. Но как сказать о Его всеведении, всеприсутствии, всемогуществе. Пытаюсь. Ты слушаешь и неожиданно вразумляешь меня самым простым и точным определением:

— Да, да, я понял. Бог — это как воздух. Он везде есть, а мы его не видим.

Мы приходим домой, мнём руки, и начинается твоя бесконечная сказка про битвы с драконами, про похождения Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Мы поём самосочинённые былины о том, как обиделись богатыри на князя Владимира, что не посадил их за стол, и как потом напало на Киев Идолице Поганое да засвистал дурным посвистом Соловей Одихмантьев сын, тогда пошли богатыри, обиды забывши, стоять за землю Русскую, за веру Православную.

— Сколько голов у Змея? — спрашиваешь ты.

— Три, — говорю я, опасаясь, что если голов будет больше, то битва долго не закончится.

— Три! — говоришь ты презрительно, — три! Это и ты справишься. Сегодня двенадцать! Вот так вот!

Игрушек у вас с сестрой — на два детских сада. Но всё равно их не хватает. Понадобился тебе конь, чтоб посадить богатыря на коня. Где конь? Нет коня. Тогда ты, непобедимый выдумщик, хватаешь кубик, часть архитектурного конструктора, и кричишь:

— Вот и пал конь Ильи Муромца! И схватил тогда Илья Муромец камень, отломил его от замка, превратил в коня, сел и поскакал!

Долго ли, коротко ли сказка сказывается, не скоро, но всё же Змей-Горыныч побеждается. Я думаю, что заслужил отдых, я же тоже воевал, но ты вдруг говоришь:

— Ищи меня! Считай до десяти! — и убегаешь.

В большой комнате, которая становится маленькой из-за развала игрушек, появляется бугор из двух одеял. Под ними что-то шевелится. Конечно, это ты. Но разве можно бабушке так сразу найти внука! Я хожу по квартире, честно заглядываю во все углы и горестно восклицаю:

— И тут нет! И тут нет! А тут совсем нет. А тут и не было.

Наконец, ты высовываешь голову и сообщаешь:

— Я же клад. Меня надо откопать.

Мама приводит сестрёнку. Тебе уже не до меня. А уж если ещё и папа сегодня пришёл пораньше, тут дедушка окончательно становится лишним. Я прошу тебя перекрестить меня на прощание. Ты обращаешься к иконам:

— Боженька, помоги дедушке найти дорогу, сделай такую милость!

На сердце у меня тепло и немного грустно. Но что грустить? Бог даст, наступит завтрашний день, и опять, с радостью бросив все взрослые дела, я пойду за тобой.

Вдруг обнаруживаю, что заблудился. Конечно, ведь я же иду один, без тебя. Но ты меня перекрестил, благословил, и я обязательно найду дорогу.